

**РЕВОЛЮЦИЯ**  
**КУЛЬТУРНАЯ**



Институт философии  
Российской академии наук

# Фридрих Ницше

полное собрание  
сочинений  
в тринадцати томах

Редакционный совет  
*П. П. Гайденко, А. А. Гусейнов,  
С. В. Казачков, В. Н. Миронов,  
Н. В. Мотрошилова, Т. И. Ойзерман,  
В. А. Подорога, В. А. Попов,  
К. А. Свасьян, Ю. В. Синеокая,  
В. С. Стётин, И. А. Эбанюидзе*

Издательство  
«Культурная Революция»  
Москва

Институт философии  
Российской академии наук

# Фридрих Ницше

полное собрание  
сочинений

*Шестой том*

Сумерки идолов  
Антихрист  
Ессе homo  
Дионисовы дифирамбы  
Ницше contra Вагнер

Перевод с немецкого

Издательство  
«Культурная Революция»  
Москва 2009

ББК 87.3 Герм  
Н70

*Сверка, научное редактирование, общая редакция*

И.А. Эбаноидзе

*Перевод* Ю.М. Антоновский, Я.Э. Голосовкер,

А.В. Карельский, В.Б. Микушевич, А.В. Михайлов,

Н.Н. Полилов, К.А. Свасьян, И.А. Эбаноидзе

*Оформление* И. Бернштейн

Ницше, Фридрих.

Н70 Полное собрание сочинений: В 13 томах / Ин-т философии.— М.: Культурная революция, 2005—

Т. 6: Сумерки идолов. Антихрист. Ессе homo. Дионисовы дифирамбы. Ницше contra Вагнер / Пер. с нем. Ю.М. Антоновского, Я.Э. Голосовкера и др.; науч. ред. И.А. Эбаноидзе. — 2009. — 408 с. — ISBN 978-5-250-06071-4.

В шестой том полного собрания сочинений Ф. Ницше вошли наиболее поздние его произведения, созданные во второй половине 1888 года. «Сумерки идолов» публикуются в переводе Н.Н. Полилова, который был тщательно сверен и отредактирован. Текст «Ессе homo» подготовлен на основе перевода Ю.М. Антоновского, в который добавлены фрагменты нового перевода, в том числе те фрагменты рукописи Ницше, которые впервые увидели свет лишь в рамках немецкого академического собрания сочинений Ницше под редакцией Д. Колли и М. Монтинари. «Антихрист» публикуется в переводе А.В. Михайлова (озаглавленном переводчиком «Антихристианин») с учетом редактуры и с добавлением мест, опущенных в немецком издании 1906 г. «Дионисовы дифирамбы» и «Ницше contra Вагнер» в полном и аутентичном виде публикуются на русском впервые.

В комментариях к тому детально освещена как история создания произведений, так и история фальсификации и воссоздания некоторых фрагментов подлинных текстов Ницше.

© Культурная революция, 2009

© А.В. Карельский, наследники; В.Б. Микушевич; А.В. Михайлов, наследники; К.А. Свасьян; И.А. Эбаноидзе. Перевод, 2009

© И.А. Эбаноидзе. Редакция перевода, 2009

© И.А. Эбаноидзе. Подготовка комментария, 2009

© И. Бернштейн. Оформление, 2009

## Содержание

185	Ессе homo (пер. Ю. Антоновского и И. Эбанойдзе)	
	Предисловие .....	187
	Почему я так мудр .....	192
	Почему я так умен .....	205
	Почему я пишу такие хорошие книги.....	223
	Рождение трагедии .....	232
	Несвоевременные .....	237
	Человеческое, слишком человеческое .....	242
	Утренняя заря .....	247
	Веселая наука.....	250
	Так говорил Заратустра .....	251
	По ту сторону добра и зла .....	264
	Генеалогия морали.....	266
	Сумерки идолов .....	267
	Случай «Вагнер» .....	269
	Почему я судьба .....	276

ECCE HOMO

Как становятся собою

## Предисловие

### 1.

В предвидении, что недалек тот день, когда я выдвину человечеству самые суровые требования, которые перед ним когда-либо ставились, мне кажется необходимым сказать, *кто я такой*. В сущности это могли бы уже и знать: ибо я не раз «свидетельствовал о себе». Но несоответствие между величию моей задачи и *ничтожеством* моих современников проявилось в том, что меня не слышали и даже не видели. Я живу на свой собственный кредит, и, быть может, то, что я живу, – всего-навсего предрассудок?.. Мне достаточно только поговорить с каким-нибудь «образованным» человеком, приезжающим летом в Верхний Энгадин, чтобы убедиться, что я *не* живу... В этих условиях возникает обязанность, против которой в сущности восстает моя привычка и еще больше гордость моих инстинктов, а именно – обязанность сказать: *Выслушайте меня! Ибо я такой-то и такой-то. Прежде всего не путайте меня с другими!*

### 2.

Я, например, вовсе не пугало, не моральное чудовище, – я даже натура, противоположная той породе людей, которую до сих пор почитали как добродетельную. Между нами: как мне кажется, именно это составляет предмет моей гордости. Я ученик философа Диониса, я предпочел бы скорее быть сатиром, чем святым. Но прочтите-ка это сочинение. Быть может, оно мне удалось, и, быть может, это произведение не имеет никакого иного смысла, как ясным и доброжелательным образом выразить названную противоположность. «Улучшить» человечество – было бы последним, что я мог бы обещать. Я не создаю новых идиологов; пусть на-

учатся у древних, во что обходятся глиняные ноги. *Низвергать идолов* (так называю я «идеалы») – скорее уж в этом мое ремесло. Ценность, смысл, истинность реальности были отняты у нее в той мере, в какой *измыслили* идеальный мир... «Мир истинный» и «мир кажущийся» – в переводе: *измышленный мир* и реальность... *Ложь* идеала была до сих пор проклятием, тяготевшим над реальностью, – из-за него само человечество сделалось изолгавшимся и фальшивым вплоть до самого дна своих инстинктов, до обоготворения ценностей, *обратных* тем, которые только и обеспечивали бы развитие, будущность, высокое *право* на будущее.

## 3.

– Кто умеет дышать воздухом моих сочинений, знает, что это воздух высот, *резкий* воздух. Надо быть созданным для него, иначе велика опасность простудиться. Рядом лед, одиночество чудовищно – но как безмятежно покоятся на свету все вещи! как легко дышится! сколь многое чувствуешь *ниже* себя! – Философия, как я ее до сих пор понимал и переживал, есть добровольное пребывание среди льдов и на высокогорье, искание всего странного и загадочного в существовании, всего, что было до сих пор гонимо моралью. Долгий опыт, приобретенный мною в этом странствии по *запретному*, научил меня смотреть иначе, чем могло быть желательно, на причины, по которым до сих пор морализировали и создавали идеалы: для меня вышла на свет *скрытая* история философии, психология ее великих представителей. – Сколько истины *выносит* дух, на сколько истины он *отваживается?* – вот что все больше становилось для меня настоящим мерилем ценности. Заблуждение (вера в идеал) не есть слепота, заблуждение есть *трусость*... Всякое завоевание, всякий шаг вперед в познании *следует* из мужества, из строгости к себе, из чистоплотности в отношении себя... Я не отвергаю идеалов, я только надеваю в их присутствии перчатки... *Nitimus in vetitum!*: под этим знаком победит не-

---

1 мы склонны к запретному (*лат.*). Цитата из Овидия: Ovid. Amores III 4, 17.



когда моя философия, ибо до сих пор основательно запрещалась только истина.

## 4.

– Среди моих сочинений мой *Заратустра* стоит особняком. Им сделал я человечеству величайший подарок из всех, какие доставались ему до сих пор. Эта книга с голосом, звучащим над тысячелетиями, есть не только высшая из существующих на свете книг – настоящая книга воздуха высот: самый факт человека лежит чудовищно *ниже* ее, – она также книга *глубочайшая*, рожденная из сокровеннейшего богатства истины, неисчерпаемый колодезь, откуда всякое погружившееся ведро возвращается на поверхность полным золота и доброты. Здесь говорит не «пророк», не какой-нибудь из тех ужасных гермафродитов болезни и воли к власти, которые зовутся основателями религий. Прежде всего надо правильно *вслушаться* в тон, исходящий из этих уст, в этот алкионический тон, чтобы не ошибиться жалким образом в смысле его мудрости. «Самые тихие слова – те, что приносят бурю. Мысли, приходящие на голубиных лапках, управляют миром». –

Плоды падают со смоковниц, они хороши и сладки; и когда они падают, сдирается красная кожица их. Я северный ветер для спелых плодов.

Так, подобно плодам смоковницы, падают к вам эти наставления, друзья мои; теперь пейте их сок и их сладкую плоть! Осень вокруг, и чистое небо, и время после полудня –

Здесь говорит не фанатик, здесь не «проповедуют», здесь не требуют *веры*: из бесконечной полноты света и глубины счастья падает капля за каплей, слово за словом; нежная медлительность – темп этих речей. Подобное доходит только до самых избранных; быть здесь слушателем – несравненное преимущество; никто не волен иметь уши для Заратустры... Не *соблазнитель* ли Заратустра?.. Но что же говорит он сам, когда в первый раз снова возвращается в свое одиночество? Прямо противоположное тому, что сказал бы в этом случае какой-нибудь «мудрец», «святой», «спа-

ситель мира» и прочий *d cadent*... Он не только говорит по-иному, он и *есть* иной...

Один ухожу я теперь, ученики мои! Уходите теперь и вы, и тоже одни! Так хочу я.

Уходите от меня и защищайтесь от Заратустры! А еще лучше: стыдитесь его! Быть может, он обманул вас.

Человек познания должен не только любить своих врагов, но уметь ненавидеть даже своих друзей.

Плохо отплачивает учителю тот, кто всегда остается только учеником. И почему не хотите вы ощипать венки мои?

Вы почитаете меня; но что если однажды *падет* почитание ваше? Берегитесь, как бы кумир не убил вас!

Вы говорите, что верите в Заратустру? Но что толку в Заратустре! Вы верующие в меня, – но что толку во всех верующих!

Вы еще не искали себя, и вот вы нашли меня. Так поступают все верующие; поэтому всякая вера так мало значит.

Теперь я призываю вас потерять меня и найти себя; и только *когда вы все отречетесь от меня*, я вернусь к вам...

Фридрих Ницше

\* \* \*

В этот совершенный день, когда все достигает зрелости и не одни только гроздья лозы наливаются соком, словно бы взгляд солнца упал на мою жизнь: я оглянулся назад, я посмотрел вперед, и никогда не видел я сразу столько хороших вещей. Не напрасно хоронил я сегодня мой сорок четвертый год, я мог спокойно похоронить его – то, что было в нем жизнью, спасено, стало бессмертным. *Переоценка всех ценностей, Дионисовы дифирамбы* и, для развлечения, *Сумерки идолов*, моя попытка философствовать молотом – все это дары этого года, даже его последней четверти! *Как же мне не быть благодарным всей моей жизни?* И вот я рассказываю себе мою жизнь.

\* \* \*

## Почему я так мудр

### 1.

Счастье моего существования, его исключительность заложены, быть может, в его судьбе: если выразиться в форме загадки, я умер уже в качестве моего отца, но в качестве моей матери я еще живу и старею. Это двойственное происхождение как бы от самой высшей и от самой низшей ступени на лестнице жизни – одновременно и *d cadent*, и начало – если что и объясняет отличающую меня, наверное, нейтральность, беспартийность в отношении общей проблемы жизни, то именно это. У меня более тонкое, чем у кого-либо из людей, чутье на признаки восходящей и нисходящей эволюции; в этой области я учитель *par excellence* – я знаю ту и другую, я воплощаю ту и другую. – Мой отец умер тридцати шести лет: он был хрупким, милым и болезненным, как существо, которому не суждено задержаться в мире – он был скорее добрым воспоминанием о жизни, чем самой жизнью. В том же году, в каком наступил слом в его жизни, пришла в упадок и моя: на тридцать шестом году жизни я дошел до низшего предела своей витальности – я еще жил, но не видел на расстоянии трех шагов перед собой. В то время – это было в 1879 году – я оставил профессию в Базеле, прожил лето, как тень, в Санкт-Морице, а следующую зиму, самую скупую на солнце зиму моей жизни, провел уже настоящей тенью в Наумбурге. То был мой минимум: за это время возник «Странник и его тень». Несомненно, я знал тогда толк в тенях... В следующую зиму, мою первую гемуэзскую зиму, то смягчение и одухотворение, которые обусловлены едва ли не крайним малокровием и слабостью мускулов, создали «Утреннюю зарю». Совершенная ясность и бодрость, даже чрезмерность духа, отразившиеся в названном произведении, уживались во мне не только с глубочайшей физиологической слабостью, но да-

же с эксцессом чувства боли. Среди пытки непрерывной, продолжавшейся по три дня, головной боли, сопровождавшейся мучительной рвотой со слизью, я обладал ясностью диалектика *par excellence* и очень хладнокровно размышлял о вещах, для которых в более здоровых условиях я недостаточно скалолаз, недостаточно рафинирован, недостаточно хладнокровен. Мои читатели, должно быть, знают, до какой степени я считаю диалектику симптомом декаданса, например, в самом знаменитом случае: в случае Сократа. – Все болезненные нарушения интеллекта, даже полубормок, следующий за лихорадкой, до сих пор остаются для меня совершенно чуждыми вещами, о природе и периодичности которых я узнал только научным путем. Моя кровь течет медленно. Никто никогда не констатировал у меня лихорадку. Один врач, долго лечивший меня как нервнобольного, сказал наконец: «Нет! дело не в Ваших нервах, нервен лишь я сам». Совершенно ничем не подтверждается наличие какого-либо локального изъяна; никакой органически обусловленной желудочной болезни, хотя и, вследствие общего истощения, крайняя слабость гастрической системы. Также и болезнь глаз, доводившая меня подчас почти до слепоты, – лишь следствие, а не причина: так что как только возрастала жизненная сила, улучшалось и зрение. – Длинный, слишком длинный ряд лет означает у меня выздоровление – оно означает, к сожалению, и рецидивы, упадок, своего рода периодический декаданс. Нужно ли мне после всего этого говорить, что я искушен в вопросах *d cadence*? Я выучил его вдоль и поперек. Самому этому филигранному искусству схватывать и понимать, этим пальцам для нюансов, этой психологии «наблюдения из-за угла» и вообще всему, что мне свойственно, я научился именно тогда, – это настоящий подарок той поры, когда все во мне утончилось, само наблюдение и все органы наблюдения. Смотреть из оптики больного на *более здоровые* понятия и ценности, и наоборот, снова из полноты и уверенности *насыщенной* жизни бросать взгляд на тайную работу инстинкта декаданса – в этом я упражнялся дольше всего, это было моим настоящим опытом, если я в чем-то и стал мастером, то именно в этом. Теперь мне это сподручно, я набил руку на том, чтобы менять перспективы: вот первая причина,

почему, вероятно, лишь для меня одного вообще возможна «переоценка ценностей».

## 2.

Так что, не считая того, что я *d cadent*, я еще и его противоположность. Мое доказательство этому, среди прочего, состоит в том, что против болезненных состояний я всегда инстинктивно выбирал *верные* средства: тогда как *d cadent* как таковой всегда выбирает вредные для себя средства. Как *summa summagum* я был здоров; как особый случай с подпольным оттенком я был *d cadent*. Та энергия, направленная на абсолютное одиночество и высвобождение из привычных условий, принуждение себя к тому, чтобы не позволять больше заботиться о себе, обслуживать и *врачевать* себя – все это выдает безусловную уверенность инстинкта в том, *что* тогда требовалось прежде всего. Я сам взял себя в руки, я сам снова сделал себя здоровым: условие для этого – с чем согласится всякий физиолог – *чтобы человек был в основе здоров*. Типически болезненное существо не может стать здоровым, тем более сделать себя здоровым; для типически здорового, напротив, болезнь может даже быть энергичным *стимулом* к жизни, к тому, чтобы жить больше. Таким на деле представляется мне *теперь* тот долгий период болезни: я словно бы заново открыл жизнь, включая самого себя, я распробовал всякие хорошие вещи, даже мелочи, так, как их совсем не легко распробовать другим, – я сделал из моей воли к здоровью, к *жизни*, мою философию... Ибо – обратите внимание – в те самые годы, когда моя витальность достигла своего низшего предела, я *перестал* быть пессимистом: инстинкт самовосстановления *воспретил* мне философию нищеты и уныния... А в чем в сущности можно распознать, что человек *удался*? В том, что удавшийся приятен нашим органам чувств, что он вырезан из дерева, которое крепко, нежно и в то же время благоуханно. Ему нравится только то, что ему полезно; его приятие, его желание прекращается, когда преступается мера полезного. Он угадывает целебные средства против того, что вредит, он обращает в свою пользу вредные случайно-

сти; что его не убивает, то делает его сильнее. Из всего, что он видит, слышит, переживает, он инстинктивно собирает *свою* сумму: он сам есть принцип отбора, он многое пропускает мимо. Он всегда в *своем* обществе, окружен ли он книгами, людьми или ландшафтами; тем, что он *выбирает*, тем, что он *допускает* и тем, что он *доверяет*, он удостаивает чести. Он реагирует на всякого рода раздражения медленно, с тою медлительностью, которую воспитали в нем долгая осмотрительность и намеренная гордость, – он присматривается к раздражению, которое приходит к нему, он далек от того, чтобы идти ему навстречу. Он не верит ни в «несчастье», ни в «вину»: он справляется с собою, с другими, он умеет *забывать*, – он достаточно силен для того, чтобы все обращалось ему во благо. Ну что ж, я – *противоположность d cadent*: ведь только что я описал *самого себя*.

3<sup>1</sup>.

Я считаю большим преимуществом то, что у меня был такой отец: крестьяне, которым он проповедовал – ведь он, после того как провел несколько лет придворным в Альтенбурге, был в последние годы проповедником – говорили, что так, должно быть, выглядят ангелы. – И этим я затрагиваю вопрос расы. Я – польский дворянин *pur sang*, в чьих жилах не течет ни единой капли дурной крови, тем более немецкой. Когда я ищу глубочайшую противоположность себе, неописуемую заурядность инстинктов, то всякий раз обнаруживаю свою мать и сестру – верить, что я в родстве с такими канальями, было бы святотатством по отношению к моей божественности. Обращение, которое мне приходится терпеть со стороны моей матери и сестры, вплоть даже до этого момента, внушает мне несказанный ужас: здесь работает совершенная адская машина, безошибочно определяющая верный момент, когда меня можно ранить так, чтобы я истекал кровью – в высшие моменты моей жизни, ... ведь тогда совершенно нету сил на то, чтобы обороняться от ядовитого отродья... Физиологическое соседство спо-

---

1 Перевод И. Эбаноидзе. См. комментарии.

собствует подобной disharmonia praestabilita<sup>1</sup>... Но я признаю, что глубочайшим возражением против «вечного возвращения», моей по-настоящему *бездонной* мысли, всегда были мать и сестра. – Однако и в качестве поляка я – чудовищный атавизм. Надо было бы отправиться на столетия назад, чтобы застать эту благороднейшую на свете расу чистой в своих инстинктах до такой степени, какой она воплотилась во мне. По отношению ко всему, что сегодня именуется noblesse<sup>2</sup>, я испытываю независимое чувство отстраненности, – молодого немецкого кайзера я не удостоил бы чести быть моим кучером. Есть один-единственный случай, когда я признаю кого-то равным себе – признаю это с глубокой благодарностью. Госпожа Козима Вагнер – это поистине благороднейшая натура; и, если говорить начистоту, Рихард Вагнер поистине был для меня самым родственным человеком... Остальное – молчание<sup>3</sup>... Все господствующие понятия о степенях родства – это такая физиологическая чепуха, что дальше некуда. Папа Римский еще и сегодня занимается торговлей этой чепухой. Человек *менее всего* состоит в родстве со своими родителями: было бы крайним признаком заурядности быть сродни своим родителям. Происхождение высших натур следует искать бесконечно дальше в прошлом, для них приходилось очень долго собирать и накапливать. *Великие* индивидуумы старше всех: я не понимаю этого, и тем не менее Юлий Цезарь мог бы быть моим отцом – *или* Александр, это воплощение Диониса... В тот момент, когда я это пишу, почта доставляет мне голову Диониса...

## 4.

Я никогда не владел искусством восстанавливать против себя – этим тоже я обязан моему несравненному отцу, – даже в тех случаях, когда это казалось мне крайне важным. Я

---

1 совершенная дисгармония (*лат.*).

2 знать (*фр.*).

3 Der Rest ist Schweigen. Слова из немецкого перевода «Гамлета», которые в русском переводе обычно звучат как «Дальнейшее – молчание» или «Дальше – тишина». – *Прим. ред.*



даже, как бы не по-христиански это ни выглядело, не восстановлен против самого себя. Можно разглядывать мою жизнь так и эдак, и в ней, за исключением одного-единственного случая, нельзя будет найти и следа недоброжелательства ко мне, – но, пожалуй, найдется многовато следов *доброй* воли... Опыт моего общения даже с теми, из общения с кем каждый выносит печальный опыт, говорит без исключения в их пользу; я приручаю всякого медведя, я и шутов делаю благонравными. В течение семи лет, когда я преподавал греческий язык в старшем классе базельского Педагогума, у меня ни разу не было повода прибегнуть к наказанию; самые ленивые были у меня прилежны. Я всегда готов к случайности; мне не надо быть подготовленным, чтобы владеть собой. Будь инструмент каким угодно, будь он даже расстроен так, как может быть расстроен только инструмент «человек», – но не иначе как я по-настоящему болен, если мне не удастся извлечь из него нечто приятное слуху. И как часто слышал я от самих «инструментов», что еще никогда они *так* не звучали... Возможно, прекраснее всего это прозвучало от того непростительно рано умершего Генриха фон Штайна, который однажды, любезно испросив позволения, явился на три дня в Зильс-Марию, объясняя всем и каждому, что он приехал *не* ради Энгадина. Этот отличный человек, погрязший со всей стремительной наивностью прусского юнкера в вагнеровском болоте (и вдобавок еще и в дюринговском!), был в эти три дня словно преобразен бурным ветром свободы, как тот, кто вдруг поднялся на *свою* высоту и обрел крылья. Я уверял его, что это эффект хорошего воздуха здесь наверху, что так происходит с каждым, недаром же поднимаешься на 6000 футов выше Байройта, – но он не хотел мне верить... Если, несмотря на это, против меня иной раз грешили, как в малом, так и в большом, то причиной тому была не «воля», меньше всего *лаяя* воля: скорее уж – я только что указывал на это – мне следовало бы сетовать на добрую волю, приведшую мою жизнь в немалый беспорядок. Мои опыты дают мне право на недоверие вообще к так называемым «бескорыстным» инстинктам, к «любви к ближнему», всегда готовой сунуться словом и делом. Для меня она сама по себе есть слабость, отдельный случай неспособности противостоять раздра-

жениям, – *сострадание* только у *d cadents* зовется добродетелью. Я обвиняю сострадательных в том, что они с легкостью теряют стыд, почтение и деликатное чувство дистанции, что от сострадания в мгновение ока начинает разить чернью и что оно, как две капли воды, похоже на дурные манеры, – сострадательные руки могут при случае прямо-таки разрушительно вторгнуться в великую судьбу, в уединение израненного, в *привилегию* на то, чтобы нести тяжкую повинность. Преодоление сострадания отношу я к числу *благородных* добродетелей: в «Искушении Заратустры» я написал историю о том, как до него долетает великий крик о помощи, как сострадание, будто последний грех, соблазняет его и пытается заставить изменить *себе*. Остаться здесь хозяином положения, держать здесь *высоту* своей задачи незапятнанной более низкими и близорукими побуждениями, действующими в так называемых бескорыстных поступках, в этом и есть испытание, может быть, последнее испытание, которое должен пройти всякий Заратустра, – истинное *доказательство* его силы...

## 5.

Также и в другом отношении я являюсь еще раз моим отцом и как бы продолжением его жизни после слишком ранней смерти. Подобно каждому, кто никогда не жил среди равных себе и кому понятие «возмездие» так же недоступно, как, скажем, понятие «равные права», я в тех случаях, когда в отношении меня совершается малая или *очень большая* глупость, запрещаю себе всякую меру противодействия, всякую меру защиты, – равно как и всякую оборону, всякое «оправдание». Мой способ возмездия состоит в том, чтобы поскорее послать вслед глупости что-нибудь умное: таким образом, пожалуй, еще можно ее нейтрализовать. Говоря метафорически: я посылаю горшок с вареньем, чтобы закончить с кислой историей... Стоит только дурно поступить со мною, как я «воздаю» за это, в этом можно быть уверенным: я нахожу в скором времени повод выразить «злодею» свою благодарность (между прочим, даже за злодеяние) – или *попросить* его о чем-то, что обязывает к боль-

шему, чем когда ты что-либо даешь... Также кажется мне, что самое грубое слово, самое грубое письмо все-таки вежливее, все-таки честнее молчания. Тем, кто молчит, почти всегда не хватает сердечной тонкости и вежливости; молчание – это возражение; проглатывание неизбежно воспитывает дурной характер – оно портит даже желудок. Все молчаливники страдают дурным пищеварением. – Как видите, я не хотел бы, чтобы грубость недооценивали, она является самой *гуманной* формой противоречия и, среди современной изнеженности, одной из первейших наших добродетелей. – Кто внутренне достаточно богат для этого, для того даже счастье – быть несправедливым. Бог, сошедший на землю, не стал бы *творить* ничего другого, кроме несправедливости: взять на себя не наказание, а *вину* – лишь это было бы божественным.

## 6.

Свобода от ressentимента, ясность касательно ressentимента – кто знает, как я обязан еще и в этом моей долгой болезнью! Проблема не так проста: надо пережить ее, исходя и из силы, и из слабости. Если следует что-нибудь вообще возразить против состояния болезни, против состояния слабости, так это то, что в нем увядает собственно инстинкт исцеления, а это и есть *инстинкт обороны и вооружения* в человеке. Ни от чего не можешь отделаться, ни с чем не можешь справиться, ничего не можешь оттолкнуть – все наносит урон. Люди и вещи подходят назойливо близко, переживания задевают слишком глубоко, воспоминание – нарывающая рана. Состояние болезни само *есть* своего рода ressentимент. – Против него существует у больного только одно великое целебное средство – я называю его *русским фатализмом*, тем безропотным фатализмом, с каким русский солдат, когда ему слишком тяжело приходится в походе, ложится на конец в снег. Ничего больше не воспринимать, не допускать до себя, не впускать *в* себя – вообще больше не реагировать... Великий разум этого фатализма, который не всегда есть только отвага к смерти, но и сохранение жизни при самых опасных для жизни обстоятельствах, заключается в ослаб-

лении обмена веществ, его замедлении, своего рода воле к зимней спячке. Еще несколько шагов дальше в этой логике – и приходишь к факиру, неделями спящему в гробу... Поскольку человек слишком быстро расходовал бы себя, *если бы* вообще реагировал, он уже не реагирует вовсе: в этом и заключается логика. А ведь ни от чего не сгорают так быстро, как от аффектов resentment. Досада, болезненная обидчивость, бессилие в мести, желание, жажда мести, отравительство во всяком смысле – для истощенного все это, несомненно, вредоноснейший вид реагирования: быстрый расход нервной силы, болезненный рост вредных выделений, например, желчи в желудок, обусловлены этим. Resentiment есть для больного воплощение всего запретного – *его* зло: к сожалению, это еще и наиболее естественная для него склонность. – Это понимал глубокий физиолог Будда. Его «религия», которую можно было бы скорее назвать гигиеной, дабы не смешивать ее с такими достойными жалости вещами, как христианство, ставила свое действие в зависимость от победы над resentment: освободить *от него* душу есть первый шаг к выздоровлению. «Не вражда положит предел вражде, но дружба положит предел вражде» – это стоит в начале учения Будды: так говорит *не* мораль, так говорит физиология. – Resentiment, порожденный слабостью, всего вреднее самому слабому, – в ином же случае, когда мы предполагаем богатую натуру, он есть *избыточное* чувство, справиться с которым есть почти что доказательство богатства. Кому знакома та серьезность, с какой моя философия вступила в борьбу с мстительными последствиями чувства вплоть до учения о «свободной воле» – борьба с христианством есть только частный ее случай, – тот поймет, почему я подробно освещаю здесь мое собственное поведение, свою *инстинктивную уверенность* в подобной практике. Во времена d cadence я *запрещал* ее себе как вредоносную; как только жизнь вновь становилась достаточно богатой и гордой для этого, я *запрещал* ее себе как нечто, что *ниже* меня. Тот «русский фатализм», о котором я говорил, проявлялся у меня в том, что я годами упорно хранил верность почти невыносимым положениям, местам, жилищам, обществу, раз уж они, случайным образом, оказались моей данностью, – это было лучше, чем изменять их, чем

*чувствовать*, что они могут быть изменены, – чем восставать против них... Мешать мне в этом фатализме, насильно возбуждать меня считал я тогда смертельно вредным: это и в самом деле было всякий раз смертельно опасно. – Принимать себя самого как фатум, не хотеть себя «иным» – в этом и заключается в таких обстоятельствах сам *великий разум*.

## 7.

Иное дело война. Я по-своему воинственен. Нападение – один из моих инстинктов. *Уметь* быть врагом и быть им – это предполагает, пожалуй, сильную натуру, во всяком случае это обусловлено во всякой сильной натуре. Ей нужно противостояние, следовательно, она *ищет* противостояния: *агрессивный* пафос так же необходимо присущ силе, как слабости присущи мстительные последыши чувства. Женщина, например, мстительна: это, как и ее чувствительность к чужой беде обусловлено ее слабостью. – Противник, который требуется нападающему, есть своего рода *мера* его силы; всякий рост проявляется в искании более крепкого противника – или проблемы: ибо философ, который воинствен, вызывает и проблемы на поединок. Задача *не* в том, чтобы преодолеть сопротивление вообще, но такое, на которое нужно затратить всю свою силу, ловкость и умение владеть оружием, – сопротивление *равного* противника... Равенство с врагом есть первое условие *честной* дуэли. *Где* презирают, там *невозможно* вести войну; где повелевают, видят нечто *ниже* себя, *не следует* вести войну. – Мой праксис войны можно выразить в четырех положениях. Во-первых: я нападаю только на те вещи, которые победоносны, – если надо, я жду, когда они будут победоносны. Во-вторых: я нападаю только на те вещи, против которых я не нашел бы союзников, где я стою один – где я компрометирую только себя... Я никогда публично не сделал ни одного шага, который не компрометировал бы: вот *мой* критерий верного поступка. В-третьих: я никогда не нападаю на личности – я пользуюсь личностью только как сильным увеличительным стеклом, которое может сделать зримым всеобщее, но ползучее, с трудом определяемое бедствие. Так напал я на

Давида Штрауса, вернее, на *успех*, который его старчески дряхлая книга имела у немецкого «образования», – так поймал я это образование с поличным... Так напал я на Вагнера, вернее, на лживость, на инстинктивную половинчатость нашей «культуры», которая смешивает рафинированных с богатыми, а запоздалых с великими. В-четвертых: я нападаю только на то, в чем исключены всякие личные счета, где нет никакой подоплеки дурных предысторий. Напротив, нападение есть для меня доказательство доброжелательства, а при случае – и благодарности. Я оказываю честь, я выделяю тем, что связываю свое имя с каким-либо предметом или личностью: за или против – это мне в данном отношении безразлично. Если я веду войну с христианством, то это подобает мне потому, что со стороны него я не переживал никаких неприятностей и помех, – самые убежденные христиане всегда были ко мне благосклонны. Я сам, противник христианства *de rigueur*<sup>1</sup>, вовсе не намерен вменить кому-то в отдельности в вину то, что является напастью тысячелетий.

## 8.

Могу ли я осмелиться указать на еще одну, последнюю черту моей натуры, которая в общении с людьми причиняет мне немалые затруднения? Мне присуща совершенно жуткая впечатлительность инстинкта чистоплотности, так что близость или – что я говорю? – сокровеннейшее, «потроха» всякой души я воспринимаю физиологически – *обоняю*... В этой впечатлительности – мои психологические усики, которыми я ощупываю и овладеваю всякою тайной: сколь много *скрытой* грязи на дне иных душ, взявшейся, быть может, из дурной крови, но замаскированной побелкой воспитания, мне становится известно едва ли не при первом же соприкосновении. Если мои наблюдения верны, то такие противоположенные моей чистоплотности натуры в свою очередь ощущают «усики» моего отвращения: от этого они не начинают пахнуть лучше... Как я себя постоянно

---

<sup>1</sup> обязательный, предписанный (*фр.*).

приучал – крайняя чистота в отношении себя есть для меня сама предпосылка существования, я погибаю в нечистых условиях, – я как будто постоянно плаваю, купаюсь и плескаюсь в воде, в какой-то совершенно прозрачной и сверкающей стихии. Это делает общение с людьми настоящим испытанием моего терпения: моя гуманность заключается не в том, чтобы сочувствовать человеку, каков он есть, а в том, чтобы *выдерживать* то, что я его чувствую... Моя гуманность есть постоянное самопреодоление. – Но мне нужно *одиночество*, я хочу сказать, исцеление, возвращение к себе, дыхание свободного, легкого, играющего воздуха... Весь мой Заратустра есть дифирамб одиночеству, или, если меня поняли, *чистоте*... К счастью, не *простецкой чистоте*<sup>1</sup>. – У кого есть глаза для красок, тот назовет его алмазным. – *Отвращение* к человеку, к «отребью» всегда было величайшей опасностью для меня... Хотите послушать слова, в которых Заратустра говорит об *освобождении* от отвращения?

Что же случилось со мною? Как избавился я от отвращения? Кто омолодил мой взор? Как взлетел я на высоту, где никакое отребье не сидит уже у источника?

Разве не самое отвращение мое создало мне крылья и силы, предчувствующие источник? Поистине, я должен был взлететь в самую высь, чтобы вновь найти родник радости!

О, я нашел его, братья мои! Здесь, на самой высоте, бьет для меня родник радости! И есть жизнь, от которой не пьет отребье вместе с вами!

Слишком стремительно течешь ты для меня, источник радости! И часто вновь опустошаешь ты кубок, желая наполнить его.

Еще должен я научиться более скромно приближаться к тебе: слишком сильно стремится навстречу тебе мое сердце –

Мое сердце, где горит мое лето, короткое, знойное, грустное и чрезмерно блаженное, – как жаждет мое лето-сердце твоей прохлады!

---

<sup>1</sup> В оригинале: *reine Thorheit*. Н. обыгрывает выражение *reiner Thor* – «чистый сердцем простак», – являющееся характеристикой вагнеровского Парсифаля. – *Прим. ред.*

Миновала медлительная печаль моей весны! Миновала злорада моих снежных хлопьев в июне! Летом сделался я всецело и полуднем лета!

Летом на самой высоте, с холодными источниками и блаженной тишиною; о, придите, друзья мои, чтобы тишина стала еще блаженней!

Ибо это *наша* высь и наша родина; слишком высоко и недоступно живем мы здесь для всех нечистых и их жажды.

Бросьте же, друзья, свой чистый взор в родник моей радости! Разве помутится он? Он засмеется в ответ вам *своею* чистотою.

На дереве будущего вьем мы гнездо свое; орлы должны в своих клювах приносить пищу нам, одиночим!

Поистине, не ту пищу, которую могли бы вкушать и нечистые! Им почудилось бы, что они пожирают огонь, и они спалили бы себе глотки.

Поистине, мы не готовим здесь жилища для нечистых! Ледяной пещерой было бы счастье наше для их тел и духа!

И, подобно могучим ветрам, хотим мы жить над ними, соседи орлам, соседи снегу, соседи солнцу: так живут могучие ветры.

И, подобно ветру, хочу я однажды еще подуть среди них и своим духом отнять дыхание их духа: так хочет мое будущее.

Действительно, могучий ветер Заратустра для всех низин; и такой совет дает он своим врагам и всем, кто плюет и харкает: «Остерегайтесь харкать *против* ветра!»...



## Почему я так умен

### 1.

Почему я в чем-то знаю *больше*? Почему я вообще так умен? Я никогда не задумывался над вопросами, которые и вопросами-то назвать нельзя, – я не растрачивал себя. – Собственно *религиозные* затруднения, например, по личному опыту мне не знакомы. От меня совершенно ускользнуло, как я мог бы быть «грешным». Точно так же у меня нет надежного критерия для того, что такое угрызение совести: по тому, что об этом можно *услышать*, угрызение совести не представляется мне чем-то достойным внимания... Я не хотел бы отказываться от поступка *после его* совершения, я предпочел бы совершенно исключить дурной исход и *последствия* из вопроса о ценности. При дурном исходе слишком легко потерять *верный* взгляд на то, что сделано; угрызение совести представляется мне своего рода «*злым* взглядом». Читть тем выше нечто неудавшееся как раз *потому*, что оно не удалось, – скорее уж это в правилах моей морали. – «Бог», «бессмертие души», «спасение», «потустороннее» – сплошь понятия, которым я никогда не дарил ни внимания, ни времени, даже ребенком, – быть может, я никогда не был достаточно ребенком для этого? – Я знаю атеизм отнюдь не как результат, еще меньше как событие: он подразумевается у меня инстинктивно. Я слишком любопытен, слишком *неочевиден*, слишком азартен, чтобы позволить себе ответ, грубый, как кулак. Бог и есть грубый, как кулак, ответ, неделikatность по отношению к нам, мыслителям, – в сущности, даже просто грубый, как кулак, *запрет* для нас: нечего вам думать!.. Гораздо больше интересует меня вопрос, от которого «спасение человечества» зависит больше, чем от какого-нибудь теологического курьеза: вопрос *питания*. Для обиходного употребления можно сформулировать его так: «как должен питаться именно *ты*, чтобы

достигнуть своего максимума силы, *virtu* в ренессансном стиле, добродетели, не содержащей моралина?» – Мой опыт в этом вопросе из рук вон плох; я изумлен, что так поздно внял этому вопросу, так поздно научился из этих опытов «уму-разуму». Только совершенная негодность нашего немецкого образования – его «идеализм» – объясняет мне до некоторой степени, почему именно здесь я оказался до святости отсталым. Это «образование», которое наперед учит терять из виду *реальности*, чтобы гоняться за исключительно проблематичными, так называемыми «идеальными» целями, например за «классическим образованием», – как будто это не заранее обреченная затея соединять в одном понятии «классическое» и «немецкое»! Более того, это забавляет – представьте себе «классически образованного» жителя Лейпцига! – В самом деле, до самых зрелых лет я питался исключительно *плохо* – моралистически выражаясь: «безлично», «бескорыстно», «самоотверженно», – на благо поваров и прочих братьев во Христе. Из-за лейпцигской кухни одновременно с моими первыми студиями Шопенгауэра (1865) я, например, совершенно серьезно отрицал свою «волю к жизни». В целях недостаточного питания еще и испортить желудок – эту проблему названная кухня решает, как мне показалось, на редкость удачно. (Говорят, 1866 год привнес сюда перемены). Но если вообще говорить о немецкой кухне – чего только нет у нее на совести! Суп *перед* трапезой (еще в венецианских поваренных книгах XVI века это называлось *alla tedesca*<sup>1</sup>); разваренное мясо, жирно и мучнисто приготовленные овощи; мучное, которое выродилось в пресс-папье! Если прибавить к этому еще прямо-таки скотскую потребность в питье после еды старых и вовсе не одних только *старых* немцев, то понятно и происхождение *немецкого духа* – из расстроенного кишечника... Немецкий дух есть несварение, он ни с чем не справляется. – Но и английская диета, которая по сравнению с немецкой и даже французской кухней есть нечто вроде «возвращения к природе», а именно – к каннибализму, глубоко противна моему собственному инстинкту; мне кажется, что она дает духу *тяжелые* ноги – ноги англичанок... Лучшая

---

1 по-немецки (*ит.*).

кухня – кухня *Пьемонта*. – Спиртные напитки мне вредны; стакана вина или пива в день вполне достаточно, чтобы сделать мне из жизни «юдоль скорби», – в Мюнхене живут мои антиподы. Даже если я поздновато это понял, на опыте я знал это с младых ногтей. Мальчиком я думал, что потребление вина, как и курение табака, вначале есть только *vanitas*<sup>1</sup> молодых людей, позднее – дурная привычка. Может быть, в этом *кислом* суждении повинно и наумбургское вино. Чтобы верить, что вино *просветляет*, для этого я должен быть христианином, то есть верить в то, что именно для меня является абсурдом. Довольно странно, что при этой крайней разлаживаемости от малых, сильно разбавленных доз алкоголя, я становлюсь почти моряком, когда дело идет о *крепких* дозах. Еще мальчиком я проявлял в этом свою смелость. Написать, а потом еще и переписать за одну ночную вахту длинное сочинение на латыни, с честолюбием в слоге, стремящемся подражать в строгости и сжатости моему образцу Саллюстия, и потягивать за латынью грог самого тяжелого калибра – это, уже в бытность мою учеником почтенной Шульпфорты, вовсе не противоречило моей физиологии, а возможно, и физиологии Саллюстия, хотя и было не в правилах почтенной Шульпфорты... Позже, к середине жизни, я, конечно, все строже воздерживался от любых «духовных» напитков<sup>2</sup>: я, исходя из собственного опыта ставший противником вегетарианства, совсем как обративший меня Рихард Вагнер, должен со всей возможной серьезностью посоветовать всем *более духовным* натурам безусловное воздержание от алкоголя. Достаточно и *воды*... Я предпочитаю места, где повсюду есть возможность черпать из текущих источников (Ницца, Турин, Зильс); маленький стакан следует за мною всюду, как собачонка. *In vino veritas*: похоже, и здесь я снова не согласен со всем миром касательно понятия «истины» – для меня дух носится над

---

1 тщеславие, хвастовство, суета (*лат.*).

2 В оригинале: «*geistige*» *Getraenk* – собств. «спиртной напиток». Однако, помещая «*geistige*» в кавычки, Н. явно имеет в виду также другое значение этого слова – «духовный». На этой же игре слов основан следующий в конце данного предложения совет всем «более духовным натурам». – *Прим. ред.*

*воду*... Еще несколько советов из области моей морали. Сытная трапеза переваривается легче, чем чересчур легкая. Первое условие хорошего пищеварения, это чтобы желудок был задействован как целое. Надо *знать* величину своего желудка. По той же причине не следует советовать тех продолжительных обедов, которые я называю прерванными жертвенными торжествами, – все эти табльдоты. – Никаких закусок в промежутках, никакого кофе: кофе омрачает. *Чай* полезен только утром. Немного, но крепкий; чай очень вреден и делает на целый день хворым, стоит ему быть всего на градус слабее нужного. У каждого здесь своя мера, часто в самых узких и деликатных рамках. В очень раздражающем климате начинать с чая не рекомендуется: за час до него следует начать с чашки густого, очищенного от масла какао. – Как можно меньше *сидеть*; не доверять ни единой мысли, которая не родилась на воздухе и в свободном движении – когда и мускулы тоже празднуют свой праздник. Все предрассудки происходят от кишечника. – Сидячая жизнь – я уже говорил однажды – есть настоящий *грех* против святого духа.

## 2.

С вопросом о питании тесно связан вопрос о *месте* и *климате*. Никто не волен жить где угодно; а кому суждено решать великие задачи, требующие напряжения всех его сил, тот даже весьма ограничен в выборе. Влияние климата на обмен веществ, его замедление и ускорение, заходит так далеко, что ошибка в выборе места и климата может не только сделать человека чуждым его задаче, но даже вовсе скрыть от него эту задачу: он никогда не взглянет ей в лицо. Животная *vigor*<sup>1</sup> никогда не станет в нем настолько большой, чтобы была достигнута та переливающаяся в самую сердцевину духа свобода, когда человек признает: *это* по силам лишь мне одному... Одной лишь обратившейся в привычку малейшей вялости кишечника вполне хватает, чтобы сделать из гения нечто посредственное, нечто «немецкое»;

---

<sup>1</sup> жизненная сила (*лат.*).

достаточно одного только немецкого климата, чтобы лишить мужества крепкие и даже предрасположенные к героизму внутренние органы. Темп обмена веществ стоит в прямом отношении к подвижности или слабости *ног духа*; ведь сам «дух» и есть только лишь род этого обмена веществ. Пусть сопоставят места, где живут и жили духовно одаренные люди, где шутка, утонченность, колкая злость неотъемлемы от счастья, где гений просто не мог не чувствовать себя дома, – во всех этих местах замечательно сухой воздух. Париж, Прованс, Флоренция, Иерусалим, Афины – эти имена о чем-нибудь да говорят: гений *обусловлен* сухим воздухом, чистым небом – стало быть, быстрым обменом веществ, возможностью всегда вновь доставлять себе большие, даже огромные количества силы. У меня перед глазами пример, когда значительный и взыскующий свободы ум только из-за недостатка инстинктивной тонкости в вопросах климата сделался узким и зашоренным, сделался специалистом и брюзгой. В конечном счете я и сам мог бы превратиться в такой пример, если бы болезнь не принудила меня к разуму, к размышлению о разуме в реальности. Теперь, когда я, вследствие долгого упражнения, отмечаю влияния климатического и метеорологического характера на себе, как на очень тонком и надежном инструменте, и даже во время краткой поездки, скажем, из Турина в Милан, физиологически вычисляю на себе перемену в процентах влажности воздуха, – теперь я со страхом думаю о том *зловещем* факте, что моя жизнь до последних десяти лет, опасных для жизни лет, все время протекала в неподходящих и прямо-таки *запретных* для меня местностях. Наумбург, Шульпфорта, вообще Тюрингия, Лейпциг, Базель – все это несчастные места для моей физиологии. Если у меня вообще нет приятного воспоминания обо всем моем детстве и юности, то было бы глупостью приписывать это так называемым моральным причинам, – например, бесспорной нехватке *удовлетворительного* общества: ибо эта нехватка присутствует и сейчас, как она присутствовала всегда, не мешая мне быть бодрым и отважным. Зато невежество *in physiologicis* – проклятый «идеализм» – вот настоящая беда моей жизни, излишнее и глупое в ней, нечто, из чего не выросло ничего доброго, чему нет никакого возмещения, никакого оправ-

дания. Последствиями этого «идеализма» объясняю я себе все промахи, все серьезные заблуждения инстинкта и все «скромности», уводящие в сторону от *задачи* моей жизни, например, что я стал филологом – почему по крайней мере не врачом и вообще кем-то отверзающим очи? В базельскую пору вся моя духовная диета, включая распорядок дня, была совершенно бессмысленным злоупотреблением незаурядной силой, без какого-либо свежего притока, покрывающего их расход, даже без единой мысли об этом расходе и необходимости возмещения. Не хватало тонкостей себялюбия, *защиты*, которую дает повелевающий инстинкт; это было приравнение себя к кому угодно, это была «самоотверженность», забвение своей дистанции – нечто, чего я себе никогда не прощу. И когда я был уже почти на исходе, именно *потому, что* я был почти на исходе, я наконец задумался об этом коренном неразумии своей жизни – об «идеализме». Только *болезнь* привела меня к разуму.

## 3.

Вслед за выбором пищи, выбором климата и места, третье, в чем ни за что не следует ошибиться, есть выбор *своего способа отвлечься*. Здесь тоже, в зависимости от того, насколько дух есть *sui generis*, границы дозволенного ему, т.е. *полезного*, очень узки. Для меня всякое *чтение* служит отвлечением: следовательно, тем, что освобождает меня от себя, что позволяет мне прогуливаться в чуждых науках и чужих душах – чего я не принимаю уже всерьез. Чтение отвлекает меня как раз от *моей* серьезности. В пору настоящей работы при мне не увидишь книг: я остерегся бы позволить кому-нибудь рядом со мной говорить или даже думать. А это и называлось бы читать... Замечали ли вы, что при том глубоком напряжении, на какое вынашивание обрекает дух и в сущности весь организм, всякая случайность, всякий род раздражения извне влияют слишком болезненно, «поражают» слишком глубоко? Надо по возможности избегать случайности, внешних раздражений; своего рода самозамуровывание – один из первейших инстинктивных приемов духовной беременности. Позволю ли я *чужой* мысли тайно

перелезть через стену? – А это и называлось бы читать... За временем работы и продуктивности следует время отдыха: ко мне тогда, приятные, остроумные, толковые книги! – Будут ли это немецкие книги?.. Чтобы застать себя с книгой в руке, я должен отсчитать полгода назад. Что же это была за книга? – Превосходное исследование Виктора Брошара, *les Sceptiques Grecs*, в котором с толком использованы и мои *Laertiana*. Скептики – это единственный *достойный уважения* тип среди от двух- до пятисмысленной семьи философов!.. В целом же я почти всегда нахожу убежище в одних и тех же книгах, в небольшом их числе, в книгах, которые *показаны* именно мне. Вероятно, это не в моей натуре – читать много и многое: читальная комната делает меня больным. Не в моей натуре также и любить много или многое. Осторожность, даже враждебность к новым книгам скорее свойственна моему инстинкту, чем «терпимость», «*largeur du coeur*»<sup>1</sup> и прочая «любовь к ближним»... В сущности, авторы, к которым я постоянно возвращаюсь, это небольшое число старинных французов: я верю только во французскую культуру и считаю недоразумением все, что кроме нее называется в Европе «культурой», не говоря уже о немецкой культуре... Те немногие случаи высокой культуры, которые я встречал в Германии, были все французского происхождения, прежде всего госпожа Козима Вагнер, самый ценный голос в вопросах вкуса, какой я когда-либо слышал. – То, что Паскаля я не читаю, но *люблю*, как поучительнейшую жертву христианства, медленно умерщвляющуюся, сперва телесно, потом психологически, всю логику этой отвратительнейшей формы нечеловеческой жестокости; что духовно, а может быть – кто знает? – и физически во мне есть нечто от монтеневского озорства; что мой артистический вкус не без сдержанной ярости встает на защиту имен Мольера, Корнеля и Расина против хаотичного гения, каков Шекспир, – все это в конечном счете не исключает возможности, чтобы и французы новейшего образца были для меня очаровательным обществом. Я отнюдь не вижу, в каком столетии истории можно было бы собрать вместе исполненных такого любопытства и притом столь

---

1 душевная широта (*фр.*).

деликатных психологов, как в нынешнем Париже: называю наугад – ибо их число совсем не мало – господа Поль Бурже, Пьер Лоти, Жип, Мельяк, Анатоль Франс, Жюль Леметр или, чтобы отметить одного из сильной расы, настоящего латинянина, которому я особенно привержен, – Ги де Мопассан. Между нами говоря, я предпочитаю *это* поколение даже их великим учителям, которые все были испорчены немецкой философией (господин Тэн, например, Гегелем, которому он обязан непониманием великих людей и эпох). Куда бы ни простиралась Германия, она *портит* культуру. Только война явилась во Франции «спасителем» духа... Стендаль, одна из прекраснейших случайностей моей жизни – ибо все, что у него есть первостепенно значительного, попадало ко мне случайно, а не с помощью чьей-либо рекомендации, – совершенно бесценен с его предвосхищающим глазом психолога, с его хваткой на факты, которая напоминает о близости величайшего реалиста (*ex ungue Leonem*<sup>1</sup>). Наконец, но отнюдь не в последнюю очередь, надо воздать должное Просперу Мериме как *честному* атеисту – редкая и даже труднонаходимая во Франции *species*... Может быть, я сам завидую Стендалю? Он отнял у меня лучшую остроту атеиста, которую мог бы придумать как раз я: «Единственное оправдание Бога состоит в том, что его не существует»... Я и сам сказал где-то: что было до сих пор самым большим возражением против бытия? *Бог*...

## 4.

Высшее представление о лирическом поэте дал мне *Генрих Гейне*. Тщетно ищу я во всех царствах тысячелетий столь же сладкой и страстной музыки. Он обладал той божественной лихостью, без которой я не могу и помыслить себе совершенства, – я определяю ценность людей, народов по тому, насколько неотделим в их представлениях бог от сатира. – И как он владел немецким языком! Когда-нибудь скажут, что Гейне и я были лучшими артистами немецкого языка

---

1 Игра слов от латинского выражения «*ex ungue leonem*» (по когтям узнают льва). – Прим. К. Свасьяна.



– в неизмеримом отдалении от всего, что сделали с ним просто немцы. – Я, должно быть, глубоко родственен *байфоновскому* Манфреду: я находил все эти бездны в себе – в тринадцать лет я уже созрел для этого произведения. У меня нет слов, только взгляд для тех, кто осмеливается в присутствии Манфреда произнести слово «Фауст». Немцы *неспособны* к пониманию величия: доказательство – Шуман. Я сам, из ярости к этим слащавым саксонцам, сочинил контр-увертюру к Манфреду, о которой Ганс фон Бюлов сказал, что ничего подобного он еще не видел на нотной бумаге, что это насилие над Евтерпой. – Когда я ищу свою высшую формулу для *Шекспира*, я всегда нахожу только то, что он создал тип Цезаря. Подобных вещей не угадаешь – это есть или этого нет. Великий поэт черпает *только* из своей реальности – до такой степени, что впоследствии он не способен больше выносить свое произведение... Когда я заглядываю в своего «Заратустру», то хожу потом полчаса по комнате взад и вперед, не в силах совладать с невыносимым приступом рыданий. – Я не знаю более душераздирающего чтения, чем Шекспир: что должен выстрадать человек, чтобы почувствовать необходимость стать шутом! – *Понимают* ли Гамлета? Не сомнение, а *несомненность* сводит с ума... Но для этого надо быть глубоким, надо быть бездною, философом, чтобы так чувствовать... Мы все *боимся* правды... И я должен признаться в этом: я инстинктивно уверен в том, что лорд Бэкон есть родоначальник и терзающий самого себя живодер этого жуткого рода литературы, – что *мне* до жалкой болтовни американских плоских и тупых голов? Но сила к самой могучей реальности воображения не только совместима с самой могучей силой к деянию, к чудищам деяния, к преступлению – *она даже предполагает ее*. Мы знаем далеко не достаточно о лорде Бэконе, первом реалисте во всех великих значениях слова, чтобы знать, *что* он делал, *чего* хотел, *что* пережил в себе... К черту, господа критики! Если предположить, что я окрестил бы Заратустру чужим именем, например, именем Рихарда Вагнера, то не хватило бы остроумия двух тысячелетий на то, чтобы в авторе «Человеческого, слишком человеческого» распознать провидца Заратустры...

## 5.

Здесь, где я говорю о том, что служило отдохновением в моей жизни, я должен сказать слово благодарности тому, на чем я отдыхал всего глубже и сердечнее. Этим было, несомненно, близкое общение с Рихардом Вагнером. Я высоко ценю мои остальные отношения с людьми, но я ни за что не хотел бы вычеркнуть из своей жизни дни, проведенные в Трибшене, дни доверия, веселья, тонких случайностей – *глубоких мгновений*... Я не знаю, что пережили с Вагнером другие, – на нашем небе никогда не было ни облака. – И здесь я еще раз возвращаюсь к Франции, – у меня нет доводов, у меня только презрительная усмешка против вагнерианцев и *hoc genus omne*<sup>1</sup>, которые думают почтить Вагнера тем, что находят его похожим на *самих себя*... Для меня, каков я есть, чуждого в своих глубочайших инстинктах всему, что есть немецкого, так что уже близость немца замедляет мое пищеварение, первое же соприкосновение с Вагнером было и первым за всю жизнь вдохом: я воспринял, я чтил его как *заграницу*, как противоположность, как живой протест против всех «немецких добродетелей». – Мы, чье детство прошло среди болотного воздуха пятидесятых годов, неизбежные пессимисты касательного понятия «немецкое»; мы не можем быть ничем иным, как революционерами, – мы не примиримся с положением вещей, где господствует *лицемер*. Мне совершенно безразлично, играет ли он сегодня другими красками, облачен ли в пурпур и одет ли в гусарскую форму... Что ж! Вагнер был революционером, из-за этого он и бежал от немцев... У *артиста* нет в Европе отечества, кроме Парижа; *d licatesse* всех пяти художественных чувств, которую предполагает искусство Вагнера, чутье *nuances*, психологическую болезненность – все это можно найти только в Париже. Нигде больше нет этой страсти в вопросах формы, этой серьезности в *mise en scene* – это парижская серьезность *par excellence*. В Германии не имеют ни малейшего представления о колоссальных амбициях, живущих в душе парижского художника. Немец добродушен – Вагнер был отнюдь не до-

---

1 – всей их породы, им подобных (*лат.*).

бродушен... Но я уже достаточно высказался (в «По ту сторону добра и зла», аф. 256), где Вагнеру место, кто его ближайшие сородичи: это французский поздний романтизм, такие высоко парящие и стремящиеся ввысь артисты, как Делакруа, как Берлиоз, с неким *fond*<sup>1</sup> болезни, неисцелимости в существе, сплошные фанатики *выразительных средств*, виртуозы до мозга костей... Кто был вообще первым *интеллигентным* приверженцем Вагнера? Шарль Бодлер, тот самый, кто первым понял Делакруа, этот типический *d cadent*, в ком опознало себя целое поколение артистов – возможно, он был и последним... Чего я никогда не прощал Вагнеру? Того, что он *снизошел* до немцев – что он стал имперским немцем... Куда бы ни проникала Германия, она *портит* культуру.

## 6.

Если взвесить все, то я не перенес бы своей юности без вагнеровской музыки. Ведь я был *приговорен* к немцам. Если хочешь освободиться от невыносимого гнета, нужен гашиш. Что ж, мне был нужен Вагнер. Вагнер – это противоядие от всего немецкого *rag excellence* – то есть сам по себе тоже яд, я не оспариваю этого... С того момента, как появился клавираусцуг «Тристана» – мои комплименты, господин фон Бюлов! – я был вагнерианцем. Более ранние произведения Вагнера я считал ниже себя – еще слишком вульгарными, слишком «немецкими»... Но и поныне я ищу, тщетно ищу во всех искусствах произведения, равного «Тристану» в его опасной обольстительности, в его зловещей и сладкой бесконечности. Все загадочные чары Леонардо да Винчи рассеиваются при первом звуке «Тристана». Это произведение положительно *non plus ultra* Вагнера; он отдыхал от него на «Мейстерзингерах» и «Кольце». Поздороветь – это *regress* для такой натуры, как Вагнер... Я почитаю настоящим счастьем, что я жил в нужное время и именно среди немцев, чтобы оказаться *зрелым* для этого произведения: настолько далеко заходит у меня любопытство психолога.

---

1 основа, дно (*фр.*).

Мир беден для человека, никогда не бывавшего достаточно больным для этого «сладострастия ада»: здесь допустимо, здесь почти показано прибегнуть к формулировке мистиков. – Я думаю, я лучше кого-либо другого знаю то чудовищное, что доступно было Вагнеру, те пятьдесят миров нездешних восторгов, для которых не было крыльев ни у кого, кроме Вагнера; и я, такой как есть, достаточно сильный, чтобы обращать себе на пользу даже самое загадочное, самое опасное и тем самым становиться еще сильнее, – я называю Вагнера великим благодетелем моей жизни. То, в чем мы родственны, то, что мы страдали глубже, в том числе друг от друга, чем способны страдать люди этого столетия, вечно будет снова и снова сводить друг с другом наши имена; и точно так же, как Вагнер – лишь недоразумение среди немцев, так же и я, несомненно, являюсь и навсегда останусь таковым. – *Для начала* два столетия психологической и артистической дисциплины, мои господа германцы!.. Но этого нельзя наверстать. –

## 7.

Я скажу еще одно слово для самых изысканных ушей: чего я в сущности хочу от музыки? Чтобы она была ясной и глубокой, как октябрьский день. Чтобы она была причудливой, шаловливой, нежной, как маленькая сладкая женщина, презренная и прелестная... Я никогда не допущу, чтобы немец *мог* знать, что такое музыка. Те, кого называют немецкими музыкантами, прежде всего великими, были *иностранцы*, славяне, хорваты, итальянцы, голландцы – или евреи; в ином случае немцы сильной расы, *вымершие* немцы, как Генрих Шютц, Бах и Гендель. Я сам все еще достаточно поляк, чтобы отдать за Шопена всю остальную музыку: по трем причинам я исключаю «Зигфрид-идиллию» Вагнера, может быть, также Листа, который благородством оркестровки превосходит всех музыкантов; и в конце концов все, что возросло по ту сторону Альп – *по эту сторону*... Я не мог бы обойтись без Россини, еще меньше без *моего* Юга в музыке, без музыки моего венецианского *maestro* Пьетро Гасты. И когда я говорю: по ту сторону Альп, я собственно говорю

только о Венеции. Когда я ищу другого слова для музыки, я всегда нахожу только слово «Венеция». Я не умею различать между слезами и музыкой – я знаю счастье думать о *Юге* не иначе, как с дрожью робости.

В юности, в светлую ночь  
раз на мосту я стоял.  
Издали слышалось пенье;  
словно по ткани дрожащей  
капли златые текли.  
Гондолы, факелы, музыка –  
В сумерках все расплывалось...

Звуками втайне задеты,  
струны души зазвенели,  
отозвалась гондольеру,  
дрогнув от яркого счастья, душа.  
– Услышал ли кто ее песнь?

## 8.

Во всем этом – в выборе пищи, места, климата, отдохновенный – повелевает инстинкт самосохранения, проявляющийся самым недвусмысленным образом в качестве инстинкта *самозащиты*. Многого не видеть, не слышать, не подпускать к себе – первая разумная мера, первое доказательство того, что являешься не случайностью, а необходимостью. Расхожее название этого инстинкта самозащиты – *вкус*. Императив вкуса велит не только говорить «Нет» там, где «Да» было бы «самоотверженностью», но и *как можно реже* говорить *Нет*. Отделять, отстранять себя от всего, что снова и снова требовало бы этого «Нет». Смысл этого в том, что издержки на оборону, даже такие незначительные, обращаясь в правило, в привычку, обуславливают чрезвычайное оскудение, которого вполне можно было бы избежать. Наши *большие* издержки складываются из регулярных малых. Отстранение, недопущение-к-себе есть издержка – не следует обманываться на этот счет, – сила, *растраченная* на негативные цели. От одной лишь постоянной необходимости обо-

роняться можно ослабеть настолько, что больше не останется сил на оборону. – Предположим, я выхожу из своего дома и вижу перед собой вместо спокойного аристократичного Турина немецкий городишко: моему инстинкту пришлось бы упираться изо всех сил, выталкивая обратно все, что хлынуло на него из этого сплющенного и трусливого мирка. Или я очутился бы среди большого немецкого города, этого застроенного порока, где ничто не растет, куда все, хорошее и дурное, втаскивается извне. Разве не пришлось бы мне обратиться в *ежа*? – Но иметь иглы – это мотовство, даже двойная роскошь, коль скоро можно иметь не иглы, а *открытые* руки...

Вторая разумная мера и самозащита состоит в том, чтобы *как можно меньше реагировать* и не ставить себя в такие положения и условия, когда обречен как бы отрешиться от своей «свободы» и инициативы и обратиться в простой ре-агент. Я беру для сравнения общение с книгами. Ученый, который в сущности лишь «переворачивает» книги – средний филолог до 200 в день, – в конце концов совершенно теряет способность самостоятельно мыслить. Если он их не переворачивает, он не мыслит. Когда он мыслит, то *отвечает* на раздражение (на прочтенную мысль), – в конечном счете он только реагирует. Ученый отдает всю свою силу на утверждение и отрицание, на критику уже продуманного, – сам он уже не думает... Инстинкт самозащиты притупился в нем, иначе он оборонялся бы от книг. Ученый есть *d - cadent*. Это я видел своими глазами: одаренные, богатые и взыскующие свободы природы уже к тридцати годам «позорно начитанны», они только спички, которые надо потереть, чтобы они дали искру – «мысль». – Ранним утром, едва только занимается день, во всей свежести, на заре своих сил читать *книгу* – это называю я порочным!

## 9.

В этом месте нельзя уклониться собственно от ответа на вопрос, *как становятся собою*. И сим я обращаюсь к шедевру в искусстве самосохранения – к *себялюбиво*... Если предположить случай, когда задача, предназначение, *судьба* задачи

значительно превосходят среднюю норму, то нет большей опасности, как увидеть себя самого *вместе* с этой задачей. Становление собою предполагает, что человек не имеет даже самого отдаленного представления о том, *что* он такое. С этой точки зрения свой собственный смысл и ценность имеют даже жизненные *ошибки*, временные блуждания и окольные пути, промедления, «скромности», серьезность, потраченная на задачи, которые лежат по ту сторону *собственно задачи*. В этом может проявляться великая, даже высшая разумность: там, где *nosce te ipsum*<sup>1</sup> было бы рецептом гибели, разумом становится самозабвение, непонимание себя, умаление себя, сужение, сведение себя к чему-то посредственному. Выражаясь нравственно: любовь к ближнему, жизнь для других и другого *может* быть защитной мерой для сохранения самой твердой любви к себе. Это тот исключительный случай, когда я, в пику моим правилам и убеждениям, становлюсь на сторону «самоотверженных» инстинктов – здесь они служат *себялюбием и самовоспитанию*. – Всю поверхность сознания – а сознание *есть* поверхность – надо хранить чистой от какого бы то ни было великого императива. Надо остерегаться даже всякого величественного слова, всякой величественной позы! Это сплошные опасности, что инстинкт «поймет себя» слишком рано – – Меж тем в глубине постепенно растет организующая, призванная к господству «идея» – она начинает повелевать, она медленно выводит *обратно* с окольных и ложных путей, она подготавливает *отдельные* качества и способности, которые однажды проявят себя необходимым средством для целого, – она выстраивает поочередно все *служебные* способности еще до того, как даст знать что-либо о доминирующей задаче, о «цели» и «смысле». – С этой точки зрения моя жизнь просто чудесна. Для задачи *переоценки ценностей* потребовалось бы, пожалуй, больше способностей, чем когда-либо соединялось в одном человеке, прежде всего – противоположность способностей, без того, чтобы они мешали друг другу, разрушали друг друга. Иерархия способностей, дистанция, искусство разделять, не создавая вражды; ничего не смешивать, ничего не «примирять»; неимоверное разно-

---

1 познай самого себя (лат.).

образе, которое, несмотря на это, есть противоположность хаоса, – таково было предварительное условие, долгая сокровенная работа и артистизм моего инстинкта. Его *высший надзор* проявлял себя до такой степени, что я ни в одном случае даже не догадывался о том, что созревает во мне, – в один прекрасный день все мои способности *выступили* внезапно, зрело, во всем своем совершенстве. Я не могу припомнить, чтобы мне когда-нибудь приходилось стараться, – в моей жизни нельзя указать ни единой приметы *борьбы*; я составляю противоположность героической натуры. Чего-то «хотеть», к чему-то «стремиться», иметь в виду «цель», «желание» – ничего этого я не знаю из опыта. Даже в данное мгновение я смотрю на свое будущее – *широкое будущее!* – как на гладкое море: ни единого желания не пенится в нем. Я нисколько не желаю, чтобы нечто становилось иным, чем есть; я сам не хочу становиться иным... Но так жил я всегда. У меня не было никаких желаний. Я – тот, кто на сорок пятом году жизни как никто другой может сказать, что он никогда не заботился о *почестях*, о *женщинах*, о *деньгах!* – Не то, чтобы у меня их не было... Так, сделался я однажды, к примеру, профессором университета – до того я даже отдаленно не помышлял ни о чем подобном, ведь мне едва исполнилось 24 года. Так, двумя годами раньше в один прекрасный день я сделался филологом: в том смысле, что моя *первая* филологическая работа, мой дебют во всех смыслах, был принят моим учителем Ричлем для публикации в его «Rheinisches Museum» (*Ричль* – я говорю это с уважением – единственный гениальный ученый, которого я до сих пор встречал. Он обладал той милой испорченностью, которая отличает нас, тюрингенцев, и с которой даже немец становится симпатичным – даже к истине мы предпочитаем идти окольными путями. Я не хотел бы этими слова сказать, что я недостаточно высоко ценю моего более близкого земляка, *умного* Леопольда фон Ранке...).

## 10.

В этом месте необходимо сделать хорошую паузу. Меня спросят, почему я собственно рассказал все эти маленькие и, по



распространенному мнению, безинтересные вещи; ведь этим я наношу вред самому себе, тем более, коль скоро я призван решать великие задачи. Ответ: эти мелочи – питание, место, климат, отдых, вся казуистика себялюбия – неизмеримо важнее всего, что до сих пор считалось важным. Именно здесь надо начать *перечувствовать*. То, что человечество до сих пор воспринимало всерьез, были даже не реальности, а просто выдумки, говоря строже, *ложь*, рожденная из дурных инстинктов больных, в глубочайшем смысле вредных натур – все эти понятия «Бог», «душа», «добродетель», «грех», «потусторонний мир», «истина», «вечная жизнь»... Однако в них искали величие человеческой природы, ее «божественность»... Все вопросы политики, общественного строя, воспитания извращены до самого основания тем, что самых вредоносных людей принимали за великих, что учили презирать «маленькие» вещи, то есть основные условия самой жизни... Наша нынешняя культура в высшей степени двусмысленна... Германский кайзер, заключающий пакт с папой, как если бы папа не представлял собою смертельную враждебность к жизни!.. То, что сегодня возводится, не простоит и трех лет. – Когда я мерю себя по тому, что я *могу*, не говоря уж о том, что придет следом за мной – разрушение и созидание, не имеющие себе равных, то я более, чем кто-либо из смертных, вправе притязать на слово «величие». Когда же я сравниваю себя с людьми, которых до сих пор почитали *лучшими*, разница оказывается прямо-таки осязаемой. Этим так называемых «лучших» я вообще не считаю за людей, – для меня они отбросы человечества, выродки болезней и мстительных инстинктов: это сплошь нездоровые, в сущности неизлечимые чудовища, мстящие жизни... Я хочу быть их противоположностью: мое преимущество состоит в чрезвычайной чуткости ко всем признакам здоровых инстинктов. Во мне нет ни одной болезненной черты; даже в пору тяжелой болезни я не сделался болезненным; тщетно искали бы в моем существе черт фанатизма. Ни из единого мгновения моей жизни нельзя указать примера, чтобы я вел себя самонадеянно или патетически. Пафос позы *не* имеет отношения к величию; тот, кому вообще нужны позы, *лжив*... Берегитесь всех колоритных людей!

Жизнь стала для меня легка, и легче всего – когда она требовала от меня самого трудного. Кто видел меня в те семьдесят дней этой осени, когда я, без перерыва, неся ответственность за все грядущие тысячелетия, писал только вещи первого ранга, каких никто не создавал ни до, ни после меня, тот не заметил во мне и следа напряжения, а только лишь бьющую через край свежесть и бодрость. Никогда не ел я с более приятным чувством, никогда мне так хорошо не спалось. – Я не знаю иного способа, как обращаться с великими задачами, кроме *игфы*: это, как признак величия, существеннейшее условие. Малейшее принуждение, мрачная мина, какой-нибудь жесткий звук в горле, все это доводы против человека, а тем более – против его произведения!... Нельзя иметь нервов... *Страдать* от безлюдья – тоже аргумент против тебя – я всегда страдал только от «многолюдья»... Абсурдно рано, в семь лет, я знал уже, что меня никогда не достигнет ни одно человеческое слово: видели ли когда-нибудь, чтобы это меня огорчало? – И ныне я по-прежнему равно любезен со всеми, я даже полон внимания к самым низким существам – во всем этом нет и грана выскомерия или скрытого презрения. Тот, *кого* я презираю, *поймет*, что он мною презираем: одним своим существованием я возмущаю все, в чем течет дурная кровь... Моя формула для величия в человеке – *amor fati*: не хотеть ничего другого ни впереди, ни позади, ни во веки веков. Не только переносить необходимость, тем более не скрывать ее – а всякий идеализм есть изолганность перед лицом необходимого, – но *любить* ее...

## Почему я пишу такие хорошие книги

### 1.

Одно дело – я, другое – мои произведения. Здесь, прежде чем я сам заговорю о них, следует коснуться вопроса понятности или непонятности этих произведений. Я говорю об этом настолько небрежно, насколько это в данном вопросе вообще возможно, – ибо вопрос этот отнюдь не своевременный. Я и сам еще не своевременен, иные люди рождаются посмертно. Когда-нибудь понадобятся учреждения, где будут жить и учить так, как я понимаю жизнь и учение; будут, быть может, учреждены и специальные кафедры для толкования «Заратустры». Но если бы я уже сегодня ожидал ушей *и рук* для *моих* истин, это вступило бы в полное противоречие со мною самим: то, что нынче не слышат, что нынче не умеют брать от меня, не только понятно, но даже представляется мне правильным. Я не хочу, чтобы меня путали с другими, – а для этого нужно, чтобы и я сам не смешивал себя с другими. – Повторю еще раз, в моей жизни почти отсутствуют следы «злой воли»; я едва ли мог бы рассказать хоть об одном проявлении литературной «злой воли». Зато слишком много *чистого идиотизма!*.. Мне кажется, если кто-нибудь берет в руки мою книгу, он оказывает себе этим самую редкую честь, какую только можно себе оказать, – могу допустить даже, что он снимает при этом обувь, не говоря уж о сапогах... Когда однажды доктор Генрих фон Штайн откровенно посетовал, что не понимает ни слова в моем Заратустре, я ответил ему, что это в порядке вещей: кто понял, то есть *пережил* хотя бы шесть предложений из Заратустры, тот уже поднялся среди смертных на более высокую ступень, чем та, которая доступна «современным» людям. Как *мог бы* я при *этом* чувстве дистанции хотя бы только желать быть читанным «современниками», коих я знаю! Мой триумф прямо противоположен шопенгауэров-

скому – я говорю: «*non legog, non legar*»<sup>1</sup>. – Не то чтобы я низко ценил удовольствие, которое мне не раз доставляла *невинность* в отрицании моих сочинений. Еще этим летом, когда я своей веской, быть может, чересчур веской литературой мог бы вывести из равновесия всю остальную литературу, один профессор Берлинского университета дал мне благосклонно понять, что мне следует пользоваться другой формой: таких вещей никто не читает. – Однако не Германия, а Швейцария дала два совсем уж крайних случая. Статья доктора В. Видманна в «*Bund*» о «По ту сторону добра и зла» под заголовком «Опасная книга Ницше» и общий обзор моих сочинений, сделанный господином Карлом Шпиттелером в том же «*Bund*», были в моей жизни максимумом – остерегаюсь сказать чего... Последний трактовал, например, моего Заратустру как «высшего рода упражнение в слоге» и желал, чтобы впредь я все-таки заботился и о содержании; доктор Видманн же выражал мне свое почтение перед мужеством, с каким я стремлюсь к искоренению всех пристойных чувств. – Из-за игры случая каждое предложение здесь с поражающей меня последовательностью оказывалось поставленной с ног на голову истиной: в сущности, не оставалось ничего другого, как «переоценить все ценности», чтобы весьма примечательным способом попасть насчет меня в точку – вместо того, чтобы делать из меня точку для попадания... В свете чего мне тем более следует попробовать объясниться. – В конечном счете никто не может узнать из вещей, включая книги, больше, чем он уже знает. К чему собственные переживания не дают никакого доступа, к тому у тебя нет и слуха. Вообразим себе крайний случай, когда книга говорит исключительно о таких переживаниях, частый или даже редкий опыт которых просто невозможен – что она являет собою *первый* язык для некоего нового ряда опытов. В этом случае просто ничего не будет слышно, зато добавится акустическое заблуждение, что там, где ничего не слышно, *ничего и нет...* Это и составляет мой типичный опыт и, если угодно, *оригинальность* моего опыта. Кто думал, что он что-нибудь понял у

---

<sup>1</sup> не читают, не будут читать (*лат.*). У Шопенгауэра (в предисловии к «О воле в природе»): «*Legor et legar*».

меня, тот делал из меня нечто по своему образу и подобию, – нередко мою противоположность, например «идеалиста»; кто ничего у меня не понял, тот говорил, что на меня вообще не нужно обращать внимания. – Слово «сверхчеловек» для обозначения в высшей степени удавшегося типажа, в противоположность «современным» людям, «добрым» людям, христианам и прочим нигилистам – слово, которое в устах Заратустры, *истребителя* морали, заставляет задуматься, – почти повсеместно с полнейшей невинностью воспринималось в смысле тех ценностей, противоположность которым была явлена в образе Заратустры: я хочу сказать, как «идеалистический» тип высшей породы людей, наполовину «святой», наполовину «гений»... Прочее ученое быдло заподозрило меня из-за него в дарвинизме. Находили в нем даже столь решительно отвергаемый мною «культ героев» Карлейля, этого размашистого изготовителя фальшивок на ниве знания воли. Те, кому я шептал на ухо, что скорее в нем можно видеть Чезаре Борджа, чем Парсифаля, не верили своим ушам. – Надо простить мне, что я отношусь без малейшего любопытства к отзывам о моих книгах, особенно в газетах. Мои друзья, мои издатели знают об этом и никогда не говорят мне ни о чем подобном. В одном только особом случае я увидел однажды воочию все грехи, совершенные в отношении одной-единственной книги – то была «По ту сторону добра и зла»; я мог бы немало рассказать об этом. Подумать только: «Nationalzeitung» (прусская газета, к сведению моих иностранных читателей, – сам же я, с позволения, читаю только «Journal des Debats») умудрилась на полном серьезе воспринять эту книгу как «примету времени», как бравую правую *юнкерскую философию*, которой недоставало разве что мужества «Kreuzzeitung»...

## 2.

Это было сказано для немцев: ибо всюду, кроме Германии, есть у меня читатели – сплошь *отборные* интеллигенты, проверенные, воспитанные высокими положениями и обязанностями характеры; среди моих читателей есть даже настоящие гении. Меня открыли повсюду: в Вене, в Санкт-

Петербурге, в Стокгольме, в Копенгагене, в Париже и Нью-Йорке, – меня *не* открыли только на европейской равнине, в Германии... И я должен признаться, что меня еще больше радуют мои не-читатели, те, кто никогда не слышал ни моего имени, ни слова «философия»; но куда бы я ни пришел, например, здесь, в Турине, каждое лицо при виде меня проясняется и добреет. Что мне до сих пор особенно льстило, так это то, что старые торговки не успокоятся, пока не выберут для меня самый сладкий из их винограда. Быть философом надо *до такой степени*... Недаром поляков зовут французами среди славян. Очаровательная русская ни на минуту не ошибется относительно моего происхождения. Мне не удастся стать торжественным, самое большее – я прихожу в смущение... Думать по-немецки, чувствовать по-немецки – я способен на все, но *это* свыше моих сил... Мой старый учитель Ричль утверждал даже, что и свои филологические исследования я конципирую, как парижский *roman-cier*<sup>1</sup> – до абсурда увлекательно. В самом Париже изумлялись «*toutes mes audaces et finesses*»<sup>2</sup> – выражение месье Тэна; я боюсь, что вплоть до высших форм дифирамба можно найти у меня примесь той соли, которая никогда не бывает глупой, то есть «немецкой», – примесь *esprit*... Я не могу иначе. Помогите мне, Боже! Аминь. – Мы знаем все, некоторые даже из опыта, кого называют длинноухим. Что ж, я смею утверждать, что у меня самые маленькие уши. Это немало интересует бабенок – мне кажется, они чувствуют, что я их лучше понимаю... Я *Антиосел* *par excellence*, и благодаря этому я всемирно-историческое чудовище, – по-гречески, и не только по-гречески, я *Антихрист*...

## 3.

Мне до некоторой степени известны мои сильные стороны как писателя; отдельные случаи даже доказывали мне, насколько сильно привычка к моим сочинениям «портит» вкус. После этого просто не можешь выносить других книг,

---

1 романист (*фр.*).

2 всем моим дерзостям и тонкостям (*фр.*).

особенно философских. Это несравненное отличие – войти в столь благородный и деликатный мир: для этого совершенно не обязательно быть немцем; в конечном счете это отличие, которое надо заслужить. Но тот, кто родственен мне *высотой* своего воления, переживает при этом истинные экстазы познания: ибо я прихожу с высот, на которые не залетала ни одна птица, я знаю бездны, в которых не блуждал еще ни один человек. Мне говорили, что от моих книг невозможно оторваться, – я нарушаю даже ночной покой... Нет более гордых и вместе с тем более рафинированных книг: они достигают порою наивысшего, что достижимо на свете, – цинизма; для завоевания их нужны как самые нежные пальцы, так и самые храбрые кулаки. Любая душевная вялость исключает человека из числа их читателей, раз и навсегда, и даже какая-нибудь диспепсия исключает: нельзя иметь нервов, нужно веселое брюхо. Не только бедность и спертый воздух души несовместимы с их чтением, но и, в еще большей степени, все трусливое, нечистое, скрытно-мстительное, что есть в наших внутренностях: мое слово – как встречный ветер для всех дурных инстинктов. Среди моих знакомых есть немало подопытных животных, с помощью которых я могу отведать столь разную, поучительно разную реакцию на мои сочинения. Те, кому нет никакого дела до их содержания, например, мои так называемые друзья, становятся при этом нейтрально-«безличными»: желают, чтобы у меня снова получилось зайти «так далеко», – а также говорят, что налицо прогресс по части большей бодрости интонации... Совершенно порочные «умы», «прекрасные души», насквозь изолгавшиеся, вовсе не знают, что им делать с этими книгами, – следовательно, они считают их *ниже* себя: прекрасная последовательность всех «прекрасных душ». Быдло среди моих знакомых, просто немцы, с вашего позволения, дают понять, что не всегда разделяют мое мнение, но иногда, к примеру, все же... Такое я слышал даже о Заратустре... Точно так же всякий «феминизм» в человеке, в частности, в мужчине, является для меня тайной за семью печатями: невозможно войти в этот лабиринт дерзких познаний. Нельзя щадить себя, *жестокость* должна стать привычкой, чтобы среди сплошных жестоких истин быть веселым и бодрым. Когда

я рисую себе образ совершенного читателя, он всегда представляется мне чудовищем смелости и любопытства, кроме того, еще чем-то гибким, хитрым, осторожным, прирожденным авантюристом и открывателем. В конце концов я не мог бы сказать лучше Заратустры – кто те одиночки, к которым я в сущности обращаюсь: *кто* те, кому он захотел бы рассказать свою загадку?

Вам, отважным искателям, испытателям и тем, кто когда-либо плывал под коварными парусами по страшным морям, –

вам, опьяненным загадками, любителям полумрака, чья душа привлекается звуками свирели ко всякой обманчивой пучине:

– ибо не хотите вы нащупывать нить трусливой рукой; и где вы можете *отгадать*, там ненавидите вы *делать выводы*...

## 4.

Вместе с тем выскажу общее замечание о моем *искусстве стиля*. *Поделиться* состоянием, внутренним напряжением пафоса через знаки, включая сюда и темп этих знаков, – в этом состоит смысл всякого стиля. А если учесть, что многообразие внутренних состояний у меня исключительно, то у меня есть множество стилевых возможностей – самое многостороннее искусство стиля, каким кто-либо вообще обладал. *Хорош* всякий стиль, который действительно передает внутреннее состояние, который не ошибается в знаках, в темпе знаков, в *жестах* – все законы периода суть искусство жеста. Мой инстинкт здесь безошибочен. – Хороший стиль *сам по себе* – чистая глупость, голый «идеализм»: все равно что «прекрасное *само по себе*» или «добро *само по себе*» или «вещь *сама по себе*»... При том непременно условии, что есть уши – уши, способные на подобный пафос и достойные его, – что нет недостатка в тех, с кем *позвоительно* делиться собою. – Мой Заратустра, например, до сих пор ищет их – ах! ему еще долго придется их искать! – Нужно быть *достойным* того, чтобы слышать его... А до тех пор не будет никого, кто бы постиг расточенное здесь *искусство*:



никогда и никто не расточал еще столько новых, неслыханных, поистине впервые здесь созданных средств искусства. Что нечто подобное возможно именно на немецком языке – это еще нужно было доказать: я и сам бы раньше со всей решительностью отрицал это. До меня не знали, чего можно добиться с помощью немецкого языка, чего можно добиться с помощью языка вообще. Искусство *великого* ритма, *великий стиль* периодичности для выражения чудовищных взлетов и падений утонченной, сверхчеловеческой страсти, был впервые открыт мною; дифирамбом «Семь печатей», которым завершается *третья* часть «Заратустры», я поднялся на тысячу миль надо всем, что до сих пор называлось поэзией.

## 5.

Что в моих сочинениях говорит не знающий себе равных *психолог*, это, возможно, первое, что становится ясно хорошему читателю – читателю, которого я заслуживаю, который читает меня так, как добрые старые филологи читали своего Горация. Положения, в отношении которых в сущности согласен весь мир – не говоря уже о всемирных философах, моралистах и о прочих пустых горшках и кочанах, – выступают у меня как наивности заблуждения: например, вера в то, что «эгоистическое» и «неэгоистическое» суть противоположности, тогда как на самом деле само *его* есть только «высшее мошенничество», «идеал»... Нет *ни* эгоистических, *ни* неэгоистических поступков; оба понятия суть психологическая бессмыслица. Или вот положение: «человек стремится к счастью»... Или же положение: «счастье есть награда добродетели»... Или еще положение: «удовольствие и неудовольствие – противоположности». Цирцея человечества, мораль, извратила – *заморалила* – всю *psychologia* до самых основ, вплоть до той ужасной нелепицы, будто любовь есть нечто «неэгоистическое»... Надо крепко сидеть на *себе*, надо смело стоять на обеих своих ногах, иначе вообще не *сможешь* любить. Это в конечном счете слишком хорошо знают бабенки: они черт знает что творят с самоотверженными, сугубо объективными мужчинами...

Могу ли я при этом отважиться предположить, что я *знаю* бабенок? Это часть моего дионисического приданого. Как знать, может быть, я первый психолог Вечно-Женственного. Они все любят меня – это старая история – не считая *увечных* бабенок, «эмансипированных», лишенных способности к деторождению. – К счастью, я не намерен отдавать себя на растерзание: совершенная женщина может растерзать, если она любит... Знаю я этих прелестных вакханок... Ах, что это за опасная, скользкая, подземная хищная зверушка! И какая лапочка при этом!.. Маленькая женщина, стремящаяся отомстить, способна сбить с ног даже судьбу. – Женщина несравненно злее мужчины, а также умнее его; доброта в женщине есть уже форма *вырождения*... У всех так называемых «прекрасных душ» есть в основе какой-нибудь физиологический изъян, – я высказываю вслух не всё, иначе я стал бы медиком. Борьба за *равные* права есть даже симптом болезни: всякий врач знает это. – Женщина, чем больше она женщина, обороняется руками и ногами от прав вообще: ведь естественное состояние, вечная *война* полов, заведомо отводит ей первое место. Есть ли уши для моего определения любви – единственного, которое достойно философа? Любовь – в своих средствах война, в своей основе смертельная ненависть полов. – Слышали ли мой ответ на вопрос, как *излечивают* женщину – «избавляют» ее? Ей делают ребенка. Женщине нужен ребенок, мужчина всегда лишь средство: так говорил Заратустра. – «Эмансипация женщины» – это инстинктивная ненависть *неудавшейся*, то есть не способной к деторождению, женщины к женщине удавшейся – борьба с «мужчиной» есть всегда только средство, предлог, тактика. Они хотят, возвышая *себя* как «женщину как таковую», как «высшую женщину», как «идеалистку», *понизить* общий уровень женщины; нет для этого более верного средства, как гимназическое образование, штаны и политические права голосующего скота. В сущности, эмансипированные женщины суть *анархистки* в мире «Вечно-Женственного», неудачницы, у которых скрытым инстинктом является мщение... Целая порода зловернейшего «идеализма» – который, кстати, встречается и у мужчин, например у Генрика Ибсена, этой типичной старрой девы, – задалось целью *отравить* чистую совесть, при-

родное в половой любви... И чтобы не оставалось никаких сомнений в моем столь же честном, сколь суровом взгляде на этот вопрос, я приведу еще одно положение из своего морального кодекса против *порока*: под словом «порок» я борюсь со всякого рода противоестественностью или, если предпочитаете красивые слова, с идеализмом. Это положение гласит: «проповедь целомудрия есть публичное подстрекательство к противоестественности. Всякое презрение половой жизни, всякое осквернение ее понятием «скверны» есть преступление перед самой жизнью, – есть настоящий грех против святого духа жизни.»

## 6.

Чтобы дать понятие о себе как психологе, возьму занятный кусочек психологии из «По ту сторону добра и зла» – я встречаю, впрочем, какие-либо предположения о том, кого я описываю в этом месте. «Гений сердца, свойственный тому великому Сокровенному, богу-искусителю и прирожденному крысолову совестей, чей голос умеет дойти до самой преисподней каждой души, кто и слова не скажет, и взгляда не бросит без скрытого намека на соблазн, кто обладает мастерским умением казаться – не тем, что он есть, а тем, что все *более* побуждает следующих ему рваться к нему и со все более глубоким и сильным влечением следовать за ним... Гений сердца, который заставляет замолкать и учит прислушиваться все громкое и самодовольное, который разглаживает заскорузлые души, давая им отвесть нового желания, – быть неподвижными, как зеркало, чтобы в них отражалось глубокое небо... Гений сердца, который научит неловкую и слишком торопливую руку брать медленнее и нежнее; который угадывает скрытое и забытое сокровище, каплю добра и сладкой одухотворенности под темным толстым льдом, и служит волшебным жезлом для каждой крупицы золота, долго лежавшей погребенною в своей темнице из ила и песка... Гений сердца, от прикосновения которого каждый становится богаче, но не облагодетельствованным и ошеломленным, не осчастливленным и подавленным чужими благами, а богаче самим собою, новее для самого

себя, проявленным, овеянным и выслушанным теплыми ветрами, быть может, не столь уверенным, более нежным, ломким и даже надломленным, но полным надежд, которым еще нет названья, полным новых желаний и приливов, полным новых нежеланий и отливов...»

## Рождение трагедии

### 1.

Чтобы быть справедливым к «Рождению трагедии» (1872), следует кое о чем забыть. Эта книга влияла и даже очаровывала тем, что было в ней ошибочного, – своей соотнесенностью с *вагнерианством*, как если бы последнее было симптомом *расцвета*. Именно это сделало ту книгу событием в жизни Вагнера: ведь только с тех пор с именем Вагнера стали связывать большие надежды. Еще и теперь напоминают мне в связи с «Парсифалем», что собственно на *моей* совете лежит распространение столь высокого мнения о *культурной ценности* этого движения. – Я неоднократно встречал цитирование книги как «Возрождения трагедии из духа музыки»: если к чему и были восприимчивы, то только к новой формуле искусства, к намерениям и *назначению Вагнера*, – но за этим не слышали всё то ценное, что таила в своей основе эта книга. «Эллинство и пессимизм»: вот что было бы более недвусмысленным заглавием – именно, как первый урок того, каким образом греки отделялись от пессимизма, – чем они *преодолевали* его... Именно трагедия и есть доказательство, что греки *не* были пессимистами; Шопенгауэр ошибся в этом, как он ошибался во всем. – Если взглянуть на «Рождение трагедии» с некоторой нейтральностью, оно выглядит весьма несвоевременным: и во сне нельзя было бы представить, что оно *начато* под гром битвы при Верте. Я обдумывал эти проблемы под стенами Меца, холодными сентябрьскими ночами, среди обязанностей санитарной службы; скорее уж можно было бы вообразить, что это сочинение старше пятьюдесятью годами. Оно политически индифферентно – «не по-немецки», как скажут

сегодня, – от него разит неприлично гегелевским духом, лишь в некоторых формулах оно отдает горьковато-группным шопенгауэровским парфюмом. «Идея» – противоположность дионисического и аполлонического – переведенная на метафизический; сама история как развитие этой идеи; упраздненная в трагедии противоположность единству, – при подобной оптике все эти вещи, никогда еще не видевшие друг друга в лицо, теперь были неожиданно сопоставлены одна с другой, друг из друга освещены и *достигнуты*... Например, опера и революция... Двумя решительными *новшествами* книги являются, во-первых, толкование *дионисического* феномена у греков – здесь впервые дана его психология, здесь в нем увиден единый корень всего греческого искусства. Во-вторых, толкование сократизма: Сократ, в котором впервые признали орудие греческого разложения, типичного *d cadent*. «Разумность» *против* инстинкта. «Разумность» любой ценой, как опасная, подрывающая жизнь сила! Глубокое враждебное молчание по поводу христианства на протяжении всей книги. Оно ни аполлонично, ни дионисично, оно *отрицает* все *эстетические* ценности – единственные ценности, признаваемые в «Рождение трагедии»: оно в глубочайшем смысле нигилистично, тогда как в дионисическом символе достигнут самый крайний предел *утверждения*. А однажды встречается намек на христианских священников как на «коварный род гномов», «подземных жителей»...

## 2.

Этот дебют необычен сверх всякой меры. Для своего сокровеннейшего опыта я *открыл* единственное иносказание и подобие, которое есть в истории, – именно за счет этого я первый постиг чудесный феномен дионисического. Точно так же тем, что я признал *d cadent* в Сократе, было дано вполне недвусмысленное доказательство, сколь мало угрожает уверенности моей психологической хватки опасность со стороны какой-нибудь моральной идиосинкразии, – сам взгляд на мораль как симптом *d cadence* есть новшество, явление первого ранга в истории познания. Как высоко

перепрыгнул я этими двумя вещами жалкую болтовню ту-пиц на тему: оптимизм contra пессимизм! – Я впервые узрел настоящую противоположность: *вырождающийся* инстинкт, обращенный с подземной мстительностью против жизни (христианство, философия Шопенгауэра, в известном смысле уже философия Платона, весь идеализм в его типических формах), и рожденная из полноты, из преизбытка формула *высшего утверждения*, безоговорочное утверждение, даже если речь идет о страдании, даже о вине, обо всем сомнительном и отпугивающем в существовании... Это последнее, самое радостное, раскрепощенно-зазорнейшее утверждение жизни есть не только самое высокое убеждение, но и *глубочайшее*, строжайшим образом подтвержденное и утвержденное истиной и наукой. Ничто существующее не может быть сброшено со счетов, нет ничего лишнего – отвергаемые христианами и прочими нигилистами стороны бытия занимают в иерархии ценностей даже бесконечно более высокое место, чем те, что мог бы одобрить, *означить добрыми* инстинкт d cadence. Чтобы постичь это, нужно *мужество* и, как его условие, избыток *силы*: ибо ровно настолько, насколько мужество *может* отважиться на движение вперед, настолько же по мере наших сил приближаемся мы к истине. Познавать, говорить «да» реальности – это такая же необходимость для сильного, как для слабого, поддающегося слабости, – трусить и *бежать* от реальности: в «идеал»... Слабые не вольны познавать: d cadents нужна ложь – она составляет одно из условий их существования. – Кто не только понимает слово «дионисическое», но и *себя* включает в слово «дионисическое», тому не нужно опровергать Платона, или христианство, или Шопенгауэра, – он просто *обоняет разложение*...

## 3.

В какой мере именно здесь я нашел понятие «трагического», конечное познание того, что такое психология трагедии, выражено мною напоследок еще в *Сумерках идолов*, на стр. 139: «Говорить жизни «да» даже в самых непостижимых и суровых ее проблемах; воля к жизни, ликующая, когда

она приносит в жертву собственной неисчерпаемости свои высшие типажи, – вот что назвал я дионисическим, вот в чем угадал я мост к психологии *трагического* поэта. Не для того, чтобы освободиться от ужаса и сострадания, не для того, чтобы, очиститься от опасного аффекта бурной его разрядкой – таково было ложное понимание этого у Аристотеля, – но для того, чтобы, наперекор ужасу и состраданию, *самому быть* вечной радостью становления, – той радостью, которая заключает в себе также и *радость уничтожения...*» В этом смысле я имею право понимать самого себя как первого *трагического философа* – стало быть, как самую крайнюю противоположность и антипода всякого философа пессимистического. До меня не существовало этого превращения дионисического в философский пафос: недоставало *трагической мудрости* – тщетно искал я ее признаков даже у *великих* греков философии, живших за два столетия до Сократа. У меня, правда, остались сомнения насчет Гераклита, рядом с которым мне вообще теплее и приятнее, чем где-либо еще. Утверждение преходящести и *уничтожения*, отличительное для дионисической философии, согласие на противоположность и войну, *становление*, при радикальном отказе даже от самого понятия «бытие» – в этом я несмотря ни на что должен признать самые близкие мне из всех до сих пор рожденных мыслей. Учению о «вечном возвращении», то есть о безусловном и бесконечно повторяющемся круговороте всех вещей, – этому учению Заратустры мог уже однажды учить и Гераклит. Оно оставило свой след его есть по крайней мере у стоиков, унаследовавших от Гераклита почти все свои основные представления.

## 4.

Из этого сочинения говорит неслыханная надежда. В конце концов у меня нет никаких оснований отказываться от надежды на дионисическое будущее музыки. Бросим взгляд на столетие вперед, предположим, что мое покушение на два тысячелетия противоестественности и порчи человечества удастся. Та новая партия жизни, которая возьмет в свои руки величайшую из всех задач, возвращение высше-

го человечества, включая беспощадное уничтожение всего вырождающегося и паразитического, сделает снова возможным на земле тот *преизбыток жизни*, из которого должно снова вырасти дионисическое состояние. Я обещаю *трагическую* эпоху: высшее искусство в утверждении жизни, трагедия, возродится, когда человечество оставит позади себя опыт жесточайших, но совершенно необходимых войн, память о которых уже не будет вызывать в нем страдания... Психолог мог бы еще добавить, что то, что мне слышалось в юные годы в вагнеровской музыке, не имеет вообще ничего общего с Вагнером; что когда я описывал дионисическую музыку, я описывал то, что слышал я, – что мне инстинктивно приходилось переводить и перевоплощать все в тот новый дух, который я носил в себе. Доказательство тому – *настолько убедительное, насколько может быть убедительным доказательство*, – мое сочинение «Вагнер в Байройте»: во всех решающих в психологическом отношении местах речь идет только обо мне, – можно не раздумывая ставить мое имя или слово «Заратустра» там, где в тексте значится «Вагнер». Весь образ *дифирамбического* художника есть образ *предсущей* поэта Заратустры, нарисованный с бездонной глубиной и ни на мгновение не касающийся вагнеровской реальности. Сам Вагнер сознавал это; он не узнал себя в моем сочинении. – Равным образом «идея Байройта» превратилась в нечто такое, что не окажется загадочным понятием для знатоков моего «Заратустры»: в тот *великий полдень*, когда наиболее избранные посвящают себя величайшей из всех задач, – как знать, не видение ли праздника, который я еще переживу?.. Пафос первых страниц всемирно-историчен; *взгляд*, о котором идет речь на седьмой странице, есть настоящий взгляд Заратустры; Вагнер, Байройт, все мелкое немецкое убожество суть облако, в котором отражается бесконечная фатаморгана будущего. Даже психологически все важнейшие черты моей собственной природы перенесены на натуру Вагнера – соседство самых светлых и самых роковых сил, воля к власти, какой не обладал еще ни один человек, безоглядная смелость в сфере духа, безграничная сила к учению, не подавляющая при этом волю к действию. Все в этом сочинении возведено наперед: близость возвращения греческого духа, необходимость *анти-*



*Александров*, которые снова *завяжут* однажды разрубленный гордиев узел греческой культуры... Пусть вслушаются в тот всемирно-исторический акцент, с которым на странице 30 вводится понятие «трагического настроения»: в этом сочинении повсюду расставлены всемирно-исторические акценты. Это самая странная «объективность», какая только может существовать: абсолютная уверенность в том, что *я собой представляю*, проецировалась на любую случайную реальность, – истина обо мне говорила из полной трепета глубины. На стр. 71 с поразительной уверенностью описан и предвосхищен *стиль* «Заратустры»; и никогда не найдут более великолепного выражения для *события* Заратустра, этого акта невиданного очищения и освящения человечества, чем на страницах 43–46.

## Несвоевременные

### 1.

Четыре *Несвоевременных* исключительно воинственны. Они доказывают, что я не был «Гансом-мечтателем», что мне доставляет удовольствие владеть шпагой, – может быть, даже, что у меня опасно раскованная рука. *Первое* нападение (1873) было на немецкое образование, на которое я уже тогда поглядывал сверху вниз с беспощадным презрением. Без смысла, без содержания, без цели: сплошное «общественное мнение». Нет более пагубного недоразумения, чем думать, что большой успех немецкого оружия доказывает что-нибудь в пользу этого образования или даже в пользу *его* победы над Францией... *Второе* Несвоевременное (1874) выносит на свет то опасное, подтачивающее и отравляющее жизнь, что есть в нашей индустрии науки: жизнь, *большую* этим обесчеловеченным автоматизмом и механицизмом, «безличностью» работника, ложной экономией «разделения труда». Утрачивается *цель* – культура: средства – современная индустрия науки – *низводят на уровень варварства*... В этом исследовании «историческое чувство», которым гордится этот век, впервые признается болезнью, типичным

признаком упадка. – В *третьем и четвертом* Несвоевременном, как указание на *высшее* понимание культуры, на восстановление понятия «культура», выставлены два образа суровейшего *себялюбия и самодисциплины*, несвоевременные типы *rag excellence*, полные независимого презрения ко всему, что вокруг них называлось «Рейхом», «образованием», «христианством», «Бисмарком», «успехом», – Шопенгауэр и Вагнер, *или*, одним словом, Ницше...

## 2.

Из этих четырех покушений первое имело исключительный успех. Вызванный им шум был во всех отношениях великолепен. Я прикоснулся к болячке победоносной нации – к тому, что ее победа *не* событие культуры, а возможно... возможно, нечто совсем иное... Ответная реакция была со всех сторон, и отнюдь не только от старых друзей Давида Штрауса, которого я высмеял как тип немецкого образованного филистера и *satisfait*, короче, как автора его распивочного евангелия о «старой и новой вере» (выражение «образованный филистер» перешло из моей книги в разговорную речь). Эти его старые друзья, вюртембержцы и швабы, глубоко уязвленные тем, что я счел потешным их диво, их Штрауса, отвечали с такой грубой неловкостью, о которой можно было только мечтать; прусские возражения были умнее – в них было больше «берлинской лазури». Самое неприличное выдал один лейпцигский листок, пресловутый «Grenzboten»; мне стоило труда удержать возмущенных базельцев от решительных шагов. Безусловно высказались за меня лишь несколько старых господ, по различным и отчасти необъяснимым основаниям. Среди них – Эвальд из Геттингена, давший понять, что мое нападение оказалось смертельным для Штрауса. Также старый гегельянец Бруно Бауэр, в лице которого я с тех пор заимел одного из самых внимательных моих читателей. В последние годы своей жизни он любил ссылаться на меня, чтобы намекнуть, например, прусскому историографу господину фон Трейчке, у кого именно мог бы он получить сведения об утраченном им понятии «культура». Самое глубокомыс-

ленное и самое обстоятельное о моей книге и ее авторе было высказано старым учеником философа Баадера, профессором Гофманом из Вюрцбурга. По этому сочинению он предвидел для меня великое назначение – вызвать род кризиса и дать высшее разрешение проблемы атеизма; он угадал во мне самый инстинктивный и самый беспощадный тип атеиста. Атеизм был тем, что привело меня к Шопенгауэру. – Лучше всего услышана и кислее всего воспринята была чрезвычайно сильная и смелая защитительная речь обычно столь мягкого Карла Хиллебранда, этого последнего немецкого *гуманиста*, умеющего владеть пером. Тогда его статью читали в «Augsburger Zeitung», а теперь ее можно прочесть, с несколько более осторожными формулировками, в собрании его сочинений. Здесь моя книга была представлена как событие, поворотный пункт, первое самоосознание, наилучшее знамение, – как настоящее *возвращение* немецкой серьезности и немецкой страсти в вопросах духа. Хиллебранд был полон высоких похвал форме сочинения, его зрелому вкусу, его совершенному такту в различении между личностью и сутью дела: он отмечал его как лучшее полемическое сочинение, написанное по-немецки – плод столь опасного именно для немцев, столь противопоставленного им искусства полемики. Безусловно соглашаясь со мной, и даже заостряя то, что я отважился сказать о люмпенизации языка в Германии (теперь они разыгрывают из себя пуристов и не могут уже связать двух слов), в презрении к «первым писателям» этой нации, он закончил выражением своего восхищения перед моим *мужеством*, – тем «высшим мужеством, которое приводит любимцев народа на скамью подсудимых»... Степень воздействия этого сочинения на мою жизнь невозможно переоценить. Никто с тех пор не пытался завязать ссору со мной. Все молчат, в Германии со мною обходятся с насуспенной осторожностью: я уже на протяжении ряда лет пользуюсь безусловной свободой слова, для которой сегодня у меня *руки* развязаны так, как ни у кого в мире, тем более в «Рейхе». Мой рай покоится «под сенью моего меча»... В сущности я применил правило Стендаля: он советует ознаменовывать свое появление в обществе *дуэлью*. И какого я выбрал себе противника! Первого немецкого вольнодумца!.. На самом деле в

этом впервые выразил себя совершенно *новый* род свободомыслия; до сих пор нет для меня ничего более чуждого и менее родственного, чем вся европейская и американская *species* «libres penseurs»<sup>1</sup>. С ними, как с неисправимыми типами и шутами «современных идей», нахожусь я даже в более глубоком противоречии, чем с кем-либо из их противников. Они тоже хотят по-своему «улучшить» человечество, по собственному образцу; если бы они только понимали, чем я являюсь и чего я *хочу*, они вели бы неприимую войну против этого, – все они еще верят в «идеал»... Я – первый *иммориалист*.

## 3.

Чтобы отмеченные именами Шопенгауэра и Вагнера «Несвоевременные» могли особенно служить уяснению обоих этих случаев или хотя бы только психологической постановке вопроса о них, – этого утверждать не приходится, за исключением разве что некоторых частных. Так, например, с глубокой инстинктивной уверенностью главный элемент в натуре Вагнера обозначен здесь как актерский дар, который в своих средствах и намерениях руководствуется лишь последующим эффектом. В сущности, вовсе не психологией хотел я заниматься в этих сочинениях: не имеющая себе равных проблема воспитания, новое понятие *самодисциплины, самозащиты*, доходящей до жестокости, путь к величию и всемирно-историческим задачам желали впервые найти свое выражение. По сути я притянул за волосы два знаменитых персонажа, которым при этом еще совершенно не найдено определения, как притягивают за волосы всякую случайность, – дабы высказать нечто, дабы раздобыть себе несколько новых формул, знаков, языковых средств. В общем-то, указание на это, данное с достаточно тревожащей прозорливостью, можно встретить на с. 350 третьего «Несвоевременного». Подобным образом Платон воспользовался Сократом как семиотикой для себя. – Теперь, когда из некоторого отдаления я оглядываюсь на те состояния,

---

1 вольнодумец (*фр.*).

свидетельством которых являются эти *сочинения*, я не стану отрицать, что в сущности они говорят исключительно обо мне. Сочинение «Вагнер в Байройте» есть видение моего будущего; напротив, в «Шопенгауэра как воспитателя» вписана моя сокровенная история, мое *становление*. И прежде всего – мой *обет!*.. То, *чем* я сегодня являюсь и *где* я сегодня нахожусь, – на такой высоте, где я говорю уже не словами, а молниями, – о, как далек я был тогда еще от этого! – Но я *видел* землю – я ни на одно мгновение не обманулся в пути, в море, в опасности – *и* в успехе! Великий покой, царящий в этом обещании, этот счастливый взгляд в будущее, которое не должно остаться только обетованием! – Здесь каждое слово пережито, глубоко, интимно; нет недостатка и в очень болезненных вещах, есть слова прямо-таки кровоточащие. Но ветер *великой* свободы пронесется надо всем; даже ранение *не* оказывается здесь возражением. – О том, как я понимаю философа – как страшный взрывчатый материал, угрожающий всему вокруг, – как отделяю я свое понятие философа на целые мили от такого понятия о нем, которое включает в себя даже какого-нибудь Канта, не говоря уже об академических «жвачных животных» и прочих профессорах философии: на этот счет мое сочинение дает бесценный урок, даже если учесть, что в сущности речь здесь идет не о «Шопенгауэре как воспитателе», но о его *противоположности* – «Ницше как воспитателе». – Если принять во внимание, что моим ремеслом тогда было ремесло ученого и что я, пожалуй, *разбирался* в своем ремесле, то суровый образчик психологии ученого, неожиданно явленный в этом сочинении, окажется не лишенным значительности: он выражает *чувство дистанции*, глубокую уверенность в том, что может быть для меня *задачей*, а что – только средством, развлечением и побочным занятием. Мой фокус в том, чтобы быть многим и многосущим, дабы суметь стать единым – дабы суметь прийти к единому. Я просто *должен* был некоторое время побыть ученым.

## Человеческое. Слишком человеческое

---

### С двумя продолжениями

#### 1.

«Человеческое, слишком человеческое» есть памятник кризиса. Оно называется книгой для *вольных* умов: почти каждая фраза в нем выражает победу – этой книгой я освободился от всего *не присущего* моей натуре. Не присущ мне идеализм – заглавие гласит: «там, где *вы* видите идеальные вещи, я вижу – человеческое, ах, слишком уж человеческое!»... Я знаю человека *лучше*... «Вольный ум» здесь не следует понимать ни в каком ином смысле, кроме как *освободившийся* ум, который снова овладел самим собою. Тон, тембр голоса совершенно изменился: книгу найдут умной, холодной, а при случае даже жестокой и насмешливой. Кажется, будто известная духовность *аристократического* вкуса постоянно одерживает верх над страстным стремлением, скрывающимся на дне. В этом сочетании есть тот смысл, что именно столетие со дня смерти *Вольтера* как бы извиняет издание книги в 1878 году. Ибо Вольтер, в противоположность всем, кто писал после него, есть прежде всего *grandseigneur* духа: так же, как и я. – Имя Вольтера на моем сочинении – это был действительно шаг вперед – *к себе*... Если присмотреться поближе, то здесь откроется безжалостный дух, знающий все закоулки, в которых идеал чувствует себя дома, в которых находятся его подземелья и его последнее убежище. С факелом в руках, дающим отнюдь не «неверный» свет, освещается с режущей яркостью этот *подземный мир* идеала. Это война, но война без пороха и дыма, без воинственных поз, без пафоса и вывихнутых членов – перечисленное было бы еще «идеализмом». Одно заблуждение за другим выносится на лед, идеал не опровергается – *он замерзает*... Здесь, например, замерзает «гений»; чуть дальше замерзает «святой»; под толстым слоем льда замерзает «герой»; под конец замерзает «вера», так называемое «убеждение», даже «сострадание» значительно остывает – почти всюду замерзает «вещь в себе»...

## 2.

Возникновение этой книги относится к неделям первого байройтского фестиваля; глубокая отчужденность от всего, что меня там окружало, есть одно из условий ее возникновения. Кто имеет понятие о том, какие видения уже тогда перебежали мне дорогу, сможет догадаться, что творилось у меня на душе, когда я однажды проснулся в Байройте. Совсем как если бы я грезил... Где это я был? Я ничего не узнавал, я едва узнавал Вагнера. Тщетно перебирал я свои воспоминания. Трибшен – далекий остров блаженных: ни тени сходства с ним. Те несравненные дни, когда закладывался фундамент, маленькая группа людей, имевших отношение к этому событию и праздновавших его, которые знали толк в самых тонких и нежных вещах: ни тени сходства. *Что случилось?* – Вагнера перевели на немецкий язык! Вагнерианец стал господином над Вагнером! *Немецкое искусство! немецкий маэстро! немецкое пиво!*.. Мы, другие, слишком хорошо знающие, к каким рафинированным артистам, к какому космополитизму вкуса обращено искусство Вагнера, мы были вне себя, обнаружив Вагнера увешанным немецкими «добродетелями». – Я думаю, что знаю вагнерианцев, я «пережил» три поколения, от покойного Бренделя, путавшего Вагнера с Гегелем, до «идеалистов» Байройтских листков, путавших Вагнера с самими собою, – я слышал всякого рода признания «прекрасных душ» по поводу Вагнера. Полцарства за *одно* осмысленное слово! Поистине, общество, от которого волосы встают дыбом! Ноль, Польша, *Коль* – грациозные *in infinitum*! Ни в каком ублюдке здесь нет недостатка, даже в антисемите. – Бедный Вагнер! Куда он попал! – Если бы он попал еще к свиньям! А то к немцам!.. Следовало бы в назидание потомству сделать чучело истинного байройтца или, еще лучше, посадить его в спирт, ибо спиритуальности ему как раз недостает, – снабдив надписью: так выглядел «дух», на котором был основан «Рейх»... Довольно об этом! Я уехал посреди празднеств на несколько недель, совершенно внезапно, несмотря на то, что одна очаровательная парижанка пробовала меня утешить; я извинился перед Вагнером только фаталистической телеграммой. В Клингенбрунне, глубоко среди лесов затерянном местечке

в Богемии, носил я в себе, как болезнь, свою меланхолию и презрение к немцам и вписывал время от времени тезисы под общим названием «Лемех» в свою записную книжку, – сплошь *суровые psychologica*, которые, возможно, встретятся в «Человеческом, слишком человеческом».

## 3.

То, что тогда во мне решилось, не было просто разрывом с Вагнером – я понял общее заблуждение своего инстинкта, отдельные промахи которого, называясь они Вагнером или базельской профессурой, были лишь симптомами. *Нетерпение* к себе охватило меня; я понял, что настала пора вернуться к себе и сознать *себя*. Сразу сделалось мне ясно до ужаса, как много времени было растрчено – каким бесполезным, каким самодурством выглядело в свете моей задачи все это мое филологическое существование! Я устыдился этой *ложной* скромности... Десять лет за плечами, в которые *питание* моего духа было совершенно остановлено, в которые я не научился ничему годному, в которые я безумно многое забыл, корпя над хламом пыльной учености. Педантично пропахивать своими больными глазами тома античных стихотворцев – вот до чего я дошел! – С жалостью видел я, что вконец отощал, вконец изголодался: *реальностей* в моем знании не было вовсе, а «идеальности» ни к черту не годились! – Поистине жгучая жажда охватила меня – с этих пор я на самом деле не занимался ничем иным, кроме физиологии, медицины и естественных наук, – даже к собственно историческим занятиям я вернулся только тогда, когда меня повелительно принудила к тому моя *задача*. Тогда же я впервые угадал связь между избранной вопреки инстинкту деятельностью, так называемым «призванием», к которому ты *менее всего* призван, – и потребностью *заглушать* голод и ощущение пустоты наркотическим искусством – например, вагнеровским. Внимательно оглядевшись, я обнаружил, что то же бедствие постигает большинство молодых людей: одна противоестественность буквально *вынуждает* другую. В Германии, в «Рейхе», чтобы говорить недвусмысленно, слишком многие осуждены несвоев-



ременно делать выбор, и потом *зачахнуть* под бременем, от которого уже нельзя избавиться... Они нуждаются в Вагнере как в *опиуме* – они забываются, они избавляются от себя на мгновение... Что я говорю! *На пять, а то и на шесть часов!*

## 4.

Тогда мой инстинкт неумолимо восстал против дальнейших уступок, против следования за другими, смешения себя с другими. Какой угодно образ жизни, самые неблагоприятные условия, болезнь, бедность – все казалось мне предпочтительнее той недостойной «самоотверженности», в которое я поначалу впал по незнанию, по *молодости*, и в котором позднее застрял по привычке, из так называемого «чувства долга». – Здесь, самым удивительным образом, и притом в самое нужное время, мне пришлось на помощь *дурное* наследство со стороны моего отца, – в сущности, предназначенность к ранней смерти. Болезнь *медленно высвобождала меня*: она избавила меня от необходимости разрыва, всякого насильственного и вызывающего шага. Я не утратил тогда ничего благорасположения, а во многих случаях еще и приобрел его. Болезнь дала мне также право на полную смену всех моих привычек; она позволила, она *приказала* мне забвение; она одарила меня *вынужденными* бездействием, праздностью, выжиданием и терпением... Но ведь это и значит думать!.. Мои глаза одни положили конец всякому буквоедству, по-немецки: филологии; я был избавлен от «книги». Я годами ничего больше не читал – *величайшее* благодеяние, какое я себе когда-либо оказывал! – Глубоко скрытое Само, как бы погребенное, как бы умолкшее перед постоянной высшей *необходимостью* слушать другие Само (а ведь это и значит читать!), просыпалось медленно, робко, колеблясь, – но наконец *оно снова заговорило*. Никогда не находил я в себе столько счастья, как в самые болезненные, самые страдальческие времена *моей* жизни: стоит только взглянуть на «Утреннюю зарю» или на «Странника и его тень», чтобы понять, чем было это «возвращение к себе»: высшим родом *выздоровления!*.. Другое было всего лишь его следствием.

## 5.

*Человеческое, слишком человеческое*, этот памятник суровой самодисциплины, с помощью которой я разом положил конец всему занесенному в меня «надувательству высшего порядка», «идеализму», «прекрасным чувствам» и прочим женственностям, – было в основном написано в Сорренто; оно получило свое заключение, свою окончательную форму зимой, которую я провел в Базеле в несравненно менее благоприятных, чем в Сорренто, условиях. В сущности, эта книга на совести господина *Петера Гаста*, тогда студента Базельского университета, очень преданного мне. Я диктовал, с обвязанной и больной головой, он записывал, а также исправлял – он был в сущности настоящим писателем, а я только автором. Когда в руках оказалась наконец готовая книга – к глубокому удивлению тяжелобольного, – я отправил в том числе два экземпляра и в Байройт. Каким-то чудом смысла, явленного в случайности, ко мне одновременно пришел прекрасный экземпляр текста «Парсифаля» с вагнеровским посвящением мне – «дорогому другу Фридриху Ницше, Рихард Вагнер, церковный советник». – Это скрещение двух книг – мне казалось, будто я услышал при этом зловеющий звук. Не звучало ли это так, как если бы скрестились *клинки*?.. Во всяком случае именно так мы оба восприняли это: ибо мы оба промолчали. – К тому времени появились первые «Байройтские листки»: я понял, *чему* настала пора. – Невероятно! Вагнер стал набожным...

## 6.

Как я думал тогда (1876) о себе, с какой колоссальной уверенностью я держал в руках свою задачу и то, что было в ней всемирно-исторического, – об этом свидетельствует вся книга, но прежде всего одно очень выразительное место в ней: единственно, что и тут я с инстинктивной во мне хитростью вновь обошел словечко «я»; но на сей раз всемирно-исторической славой я озарил не Шопенгауэра или Вагнера, а одного из моих друзей, превосходного Пауля Рэ – к счастью, он оказался слишком тонким существом, чтобы...

*Другие* были менее тонки: безнадежных среди моих читателей, например типичного немецкого профессора, я всегда узнавал по тому, что они, основываясь на этом месте, считали себя обязанными понимать всю книгу как высший рэализм. На самом деле она заключала в себе противоречие пяти-шести тезисам моего друга: об этом можно прочесть в предисловии к «Генеалогии морали». – Это место гласит: каково же то главное положение, к которому пришел один из самых смелых и хладнокровных мыслителей, автор книги «О происхождении нравственных восприятий» (lisez<sup>1</sup>: Ницше, первый *имморалист*), с помощью своего острого и проницательного анализа человеческого поведения? «Нравственный человек стоит не ближе к умопостигаемому миру, чем человек физический, – *ибо* умопостигаемого мира не существует»... Это положение, ставшее твердым и острым под ударами молота исторического познания (lisez: *переоценки всех ценностей*), сможет, вероятно, некогда в будущем – 1890! – послужить секирой, которая будет положена у корней<sup>2</sup> «метафизической потребности» человечества, – на благо или на проклятие человечеству, кто мог бы это сказать? И во всяком случае стать положением, которое чревато важнейшими последствиями, – одновременно плодотворным и страшным, и взирающим на мир тем *двойственным взором*, который бывает присущ всякому великому познанию...

## Утренняя заря

### *Мысли о морали как предрассудке*

#### 1.

Этой книгой начинается мой поход против *морали*. Не то чтобы в ней, хотя бы едва, чувствовался запах пороха – скорее в ней распознают совсем другие, и гораздо более нежные, запахи, особенно при условии некоторой чуткости

---

1 читай (*фр.*).

2 см. Мф 3, 10. а также прим.

ноздрей. Ни тяжелой, ни даже легкой артиллерии; если действие книги отрицательное, то тем менее отрицательны ее средства, из которых действие следует как заключение, а не как пушечный выстрел. Что с книгой расстаются с боязливой осторожностью ко всему, что до сих пор почиталось и даже боготворилось под именем морали, это не противоречит тому, что во всей книге не встречается ни единого отрицательного слова, ни единого нападения, ни единой колкости, – скорее она покоится на солнце, круглая, счастливая, похожая на морского зверя, греющегося среди скал. В конце концов я сам был им, этим морским зверем: почти каждое положение этой книги было придумано, *изловлено* в том хаосе скал близ Генуи, где я был один и имел общие тайны только с морем. Еще и теперь, при случайном моем соприкосновении с этой книгой, почти каждое предложение оказывается крючком, которым я снова извлекаю из глубины что-нибудь несравненное: вся ее кожа вздрагивает от нежного трепета воспоминаний. Искусство, которое эта книга ставит своей целью, есть немалое искусство закреплять вещи, легко и бесшумно скользящие мимо, закреплять мгновения, называемые мною божественными ящерицами, – не с жестокостью того юного греческого бога, который просто насаживал, как на вертел, бедных ящериц, но все же при помощи некоторого острия – пером... «Есть так много утренних зорь, которые еще не светили» – эта *индийская* надпись значит на двери к этой книге. Где же *ищет* ее автор того нового утра, ту до сих пор еще не открытую нежную зарю, с которой начнется новый день? – ах, целый ряд, целый мир новых дней! В *переоценке всех ценностей*, в освобождении от всех моральных ценностей, в утверждении и доверии ко всему, что до сих пор запрещали, презирали, проклинали. Эта *утверждающая* книга изливает свой свет, свою любовь, свою нежность на сплошь дурные вещи, она снова возвращает им «душу», чистую совесть, право, *преимущественное право* на существование. На мораль тут не нападают, ее просто не принимают больше в расчет... Эта книга заканчивается вопросом «или?» – это единственная книга, которая заканчивается вопросом «или?»...

## 2.

Моя задача – подготовить для человечества момент высшего самоосознания, *великий полдень*, когда оно оглянется назад и взглянет вперед, когда оно выйдет из-под владычества случая и священников и поставит себе впервые, *как целое*, вопросы: почему? зачем? – эта задача с необходимостью вытекает из воззрения, что человечество само по себе *не* находится на верном пути, что оно управляется вовсе *не* божественно, что, напротив, среди его самых священных понятий о ценности соблазнительно господствовал инстинкт отрицания, порчи, инстинкт *d cadence*. Вопрос о происхождении моральных ценностей оттого и является для меня вопросом *первостепенной важности*, что он обуславливает будущее человечества. Требование, чтобы *верили*, что все в сущности находится в наилучших руках, что одна книга, Библия, дает окончательную уверенность в божественном предводительстве и мудрости в судьбах человечества, это требование, переведенное обратно в область реальности, есть воля к подавлению истины о жалкой противоположности сказанного, а именно, что человечество до сих пор пребывало в *наисквернейших* руках, что оно управлялось неудачниками и коварными мстителями, так называемыми святыми, этими мирохулиателями и человекоосквернителями. Решающий признак, устанавливающий, что священник (включая и *затаившихся* священников – философов) сделался хозяином не только внутри определенной религиозной общины, но и всюду вообще, а мораль *d cadence*, воля к концу, стала слыть моралью *как таковой*, заключается в безоговорочно высокой оценке, повсеместно выпадающей на долю неэгоистическому началу, и вражде, выпадающей на долю эгоизму. Кто в этом пункте не заодно со мною, того я считаю *инфицированным*... Но весь мир не заодно со мною... У физиолога такое противопоставление ценностей не оставит ни малейшего сомнения. Если в организме самый незначительный орган хотя бы в малой степени перестает заниматься само собой разумеющимся поддержанием своего функционирования, восполнением своей силы, перестает быть «эгоистичным», то вырождается и весь организм. Физиолог требует *ампутации* выродившейся части,

он отрицает любую солидарность с тем, что выродилось, он крайне далек от сострадания к нему. Но священник *хочет* именно вырождения целого, человечества: поэтому и *консервирует* он вырождающееся – ценой этого господствует он над человечеством... Какой смысл имеют ложные, *вспомогательные* понятия морали – «душа», «дух», «свободная воля», «Бог» – как не тот, чтобы физиологически разрушить человечество?.. Когда игнорируют серьезность самосохранения и укрепления тела, *то есть жизни*, когда из бледной немочи конструируют идеал, а из презрения к телу – «спасение души», то что же это, как не *recueil cadence*? – Утрата равновесия, сопротивление естественным инстинктам, «самоотверженность» – одним словом, это называлось до сих пор *моралью*... «Утренней зарей» вступил я впервые в борьбу с моралью самоотречения.

## Веселая наука

(«*la gaya scienza*»)

«Утренняя заря» – утверждающая книга, глубокая, но светлая и добрая. То же, но еще в большей степени, относится и к *gaya scienza*: почти в каждом ее предложении нежно держатся за руки глубокомыслие и резвость. Стихи, выражающие благодарность за самый чудесный месяц январь, который я пережил – вся книга есть его подарок, – в достаточной степени объясняют, выйдя из какой глубины, стала здесь *веселой* «наука»:

Ты, что огненною пикой  
Лед души моей разбил,  
И к морям надежд великих  
Бурный путь ей проложил:  
И душа, светла и в здравье,  
И вольна среди обуз,  
Чудеса твои прославит,  
Дивный Януариус! –<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Пер. К. Свасьяна.

Видящий, как заблестала в заключении четвертой книги алмазная красота первых слов Заратустры, – может ли он сомневаться в том, что именно называется здесь «великими надеждами»? – Или когда он читает гранитные строки в конце третьей книги, с помощью которых впервые *на все времена* отливается в формулы судьба? *Песни принца Фогельфрая*, в лучшей своей части написанные в Сицилии, весьма выразительно напоминают о том провансальском понятии «*gaia scienza*», о том единстве *певца, рыцаря и вольнодумца*, которым та чудесная ранняя культура провансальцев отличалась от всех двусмысленных культур; самое последнее стихотворение «*К мистралою*», лихая танцевальная песнь, где, с позволения! пляшут над моралью, есть совершенный провансализм.

## Так говорил Заратустра

### *Книга для всех и ни для кого*

#### 1.

Теперь я расскажу историю Заратустры. Основная концепция этого произведения, *мысль о вечном возвращении*, эта высшая форма утверждения, которая вообще может быть достигнута, – относится к августу 1881 года: она набросана на листе, подписанном: «6000 футов по ту сторону человека и времени». Я шел в этот день поверху лесом вдоль озера Сильваплана; у могучего, пирамидально нагроможденного блока камней, недалеко от Сурляя, я остановился. Там-то и пришла мне эта мысль. – Когда я отсчитываю от этого дня несколько месяцев назад, я нахожу как предзнаменование внезапную и по сути решающую перемену моего вкуса, прежде всего в музыке. Может быть, всего Заратустру позволительно причислить к музыке – несомненно, то, что я возродился для искусства *слышать*, было его предварительным условием. В Рекоаро, маленьком горном курорте близ Виченцы, где я провел весну 1881 года, я вместе с моим *ma stro* и другом Петером Гастом, еще одним «возродив-

шимся», понял, что мимо нас пролетел феникс Музыка, в оперении более легком и светоносном, чем кому-либо доводилось видеть. Когда же я, наоборот, отсчитываю от этого дня вперед, до внезапно и в самых невероятных обстоятельствах наступившего разрешения от бремени в феврале 1883 года – заключительная часть, та самая, из которой я цитировал несколько изречений в *Предисловии*, была закончена как раз в тот священный час, когда в Венеции умер Рихард Вагнер, – то получается, что беременности длилась восемнадцать месяцев. Это число, именно восемнадцать, могло бы навести на мысль, по крайней мере среди буддистов, что я в сущности слониха. – В этот промежуток укладывается «*gaya scienza*», несущая в себе сотню примет близости чего-то несравненного; наконец она дает даже самое начало «Заратустры», а в предпоследнем отрывке четвертой книги – основную мысль Заратустры. – В этот же промежуток укладывается и тот *Гимн к жизни* (для смешанного хора и оркестра), партитура которого два году тому назад вышла у Э.В. Фрицша в Лейпциге: не такой уж, быть может, малозначачий симптом для состояния этого года, когда мне был в высшей степени присущ *утверждающий* пафос *rag excellence*, названный мною трагическим пафосом. Однажды этот гимн исполнят в память обо мне. – Текст, стоит подчеркнуть, ибо по этому поводу распространено недоразумение, принадлежит не мне: он есть изумительное вдохновение молодой русской девушки, с которой я тогда был дружен, – фройляйн Лу фон Саломе. Кто сумеет воспринять смысл последних слов этого стихотворения, тот угадает, почему я предпочел его и восхитился им: в них есть величие. Боль *не* служит доводом против жизни: «И если счастья ты мне больше дать не можешь, что ж! *дай мне боль...*» Быть может, в этом месте есть величие и в моей музыке. (Последняя нота гобоя – до диез, а не до. Опечатка.) – Следовавшую затем зиму я прожил в той очаровательно тихой бухте Рапалло, недалеко от Генуи, которая врезается между Кьявари и мысом Портофино. Мое здоровье было не из лучших; зима выдалась холодная и чересчур дождливая; маленькая гостиница, расположенная у самого моря, так что ночью прилив просто не давал спать, представляла почти во всем противоположность желаемого. Вопреки этому и почти в дока-



зательство моего утверждения, что все выдающееся возникает «вопреки», именно в эту зиму и в этих неблагоприятных условиях возник мой «Заратустра». – В дообеденное время я поднимался в южном направлении по чудесной дороге к Зоальи, мимо сосен, глядя на бескрайнюю панораму моря; во второй половине дня, всякий раз, как позволяло мое здоровье, я обходил всю бухту от Санта-Маргериты до местности, расположенной за Портофино. Эти места и этот ландшафт сделались еще ближе моему сердцу благодаря той любви, которую испытывал к ним незабвенный германский кайзер Фридрих III; случайно я снова очутился у этих берегов осенью 1886 года, когда он в последний раз посещал этот маленький забытый мир счастья. – На обеих этих дорогах пришел мне в голову весь первый «Заратустра», и прежде всего сам Заратустра как тип: точнее, он *снизошел на меня...*

## 2.

Чтобы понять этот тип, надо сперва уяснить себе его физиологическую предпосылку; она есть то, что я называю *великим здоровьем*. Я не знаю, как разъяснить это понятие лучше, более *лично*, чем я уже сделал это в одном из заключительных разделов пятой книги «*gaia scienza*». «Мы, новые, безымянные, с трудом постижимые, – говорится там, – мы, недоноски еще не доказанного будущего, – нам для новой цели потребно и новое средство, а именно, новое здоровье, более крепкое, умудренное, цепкое, отважное, веселое, чем все бывшие до сих пор здоровья. Тот, чья душа жаждет пережить во всем объеме прежние ценности и устремления и обогнуть все берега этого идеального «средиземноморья», кто хочет из приключений сокровеннейшего опыта узнать, каково на душе у завоевателя и первопроходца идеала, а равным образом и у художника, святого, законодателя, мудреца, ученого, благочестивого, предсказателя, пустынножителя старого стиля, – тот прежде всего нуждается для этого в *великом здоровье* – таком, которое не только имеют, но и постоянно приобретают и должны приобретать, ибо им вечно поступаются, должны поступаться... И вот же, после того как мы так долго были в пути, мы, аргонавты идеала,

более храбрые, должно быть, чем этого требует благоразумие, подвергшиеся стольким кораблекрушениям и нападениям, но, как сказано, более здоровые, чем хотели бы нам позволить, опасно здоровые, всё вновь и вновь здоровые, – нам начинает казаться, будто мы, в вознаграждение за это, видим перед собой какую-то еще не открытую страну, границ которой никто еще не обозрел, некое «по ту сторону» всех прежних земель и уголков идеала, мир до того богатый прекрасным, чуждым, сомнительным, страшным и божественным, что наше любопытство, как и наша жажда обладания, выходит из себя – ах! и мы уже ничем не можем насытиться! Как смогли бы мы, увидев такие перспективы и так изголодавшись по вести и совести, довольствоваться еще *современным человеком*? Довольно скверно, но неизбежно, что на его почтеннейшие цели и надежды мы будем теперь взирать только с деланной серьезностью, а может быть, и вовсе не будем... Перед нами носится другой идеал, причудливый, соблазнительный, рискованный идеал, к которому мы никого не хотели бы склонять, ибо ни за кем не признаем с такой легкостью *права на него*: идеал духа, который наивно, стало быть, сам того не желая и из бьющего через край избытка полноты и мощи, играет со всем, что до сих пор называлось священным, добрым, неприкосновенным, божественным; для которого то наивысшее, в чем народ по справедливости обладает своим ценностным мерилом, означало бы уже опасность, упадок, унижение или, по меньшей мере, отдых, слепоту, временное самозабвение; идеал человечески-сверхчеловеческого благополучия и благоволения, который довольно часто выглядит *нечеловеческим*, скажем, когда он рядом со всей бывшей на земле серьезностью, рядом со всякого рода торжественностью в жесте, слове, звучании, взгляде, морали и задаче изображает как бы их живейшую непроизвольную пародию, – и со всем тем, несмотря на все это, быть может только теперь и появляется впервые *великая серьезность*, впервые ставится вопросительный знак, поворачивает в сторону судьба души, сдвигается стрелка, *начинается трагедия...*»

## 3.

Есть ли у кого-нибудь в конце девятнадцатого столетия ясное представление о том, что поэты сильных эпох называли *вдохновением*? Если нет, то я опишу. – Невозможно отделаться от представления, в котором нет и следа суеверия, что ты только инкарнация, только рупор, только медиум сверхмощных сил. Понятие откровения в том смысле, что внезапно с несказанной уверенностью и точностью становится *видимым* и слышимым нечто, потрясающее тебя до самой глубины, опрокидывающее тебя, попросту описывает положение дел. Ты не ищешь, ты просто слышишь; ты берешь, не спрашивая, кто здесь дает; мысль вспыхивает, как молния, с необходимостью, в форме, не допускающей колебаний, – передо мной ни разу не стоял выбор. Восторг, чудовищное напряжение которого то и дело разрешается в потоках слез, при котором шаги невольно становятся то стремительными, то замедленными; ты совершенно вне себя, и при этом с предельной ясностью сознаешь неисчислимое множество тончайших подрагиваний и судорог до самых пальцев ног; глубина счастья, где самое болезненное и самое мрачное действуют не как противоположность, но как нечто вытекающее из поставленных условий, как необходимая *краска* внутри такого избытка света; инстинкт ритмических соотношений, охватывающий далекие пространства форм – продолжительность, потребность в *далеко напряженном* ритме есть почти что мера силы вдохновения, своего рода компенсация за его давление и напряжение... Все происходит в высшей степени произвольно, но как бы в потоке чувства свободы, безусловности, мощи, божественности... Самое замечательное – произвольность образа, сравнения; не имеешь больше понятия о том, где образ, где символ; все приходит как самое близкое, самое правильное, самое простое выражение. Поистине, кажется, если вспомнить слова Заратустры, будто вещи сами приходят к тебе, предлагая себя в символы. («Сюда приходят все вещи, ласться к твоей речи и льстя тебе: ибо они хотят скакать на твоей спине. Верхом на всяком подобии скачешь ты здесь к любой истине. Здесь прыгают ко мне слова и раскрываются ларчики слов всякого бытия: здесь всякое

бытие хочет стать словом, здесь всякое становление хочет научиться у меня говорить«.) Это *мой* опыт вдохновения; я не сомневаюсь, что надо вернуться на тысячелетия назад, чтобы найти кого-нибудь, кто вправе мне сказать: «это и мой опыт».

## 4.

Потом я пролежал пару недель больной в Генуе. Затем последовала тоскливая весна в Риме, куда я переехал жить, – это было нелегко. В сущности меня сверх меры раздражало это самое неприличное для поэта Заратустры место на свете, которое я выбрал не добровольно; я пытался освободиться – я хотел в *Л'Акуилу*, антипод Рима, основанный из враждебности к Риму, как и я однажды осную место в память об атеисте и враге церкви *comme il faut*, одном из моих ближайших родичей, великом кайзере Гогенштауфене, Фридрихе II. Но мне препятствовало роковое стечение обстоятельств: пришлось вернуться. В конце концов я удовольствовался площадью Барберини, после того как меня утомили хлопоты, связанные с *антихристианской* местностью. Боюсь, что однажды, чтобы по возможности избавиться от дурных запахов<sup>1</sup>, я справлялся даже в палаццо дель Квиринале, нет ли там тихой комнаты для философа. В *loggia*, высоко над вышеназванной площадью, откуда виден Рим, а глубоко внизу слышно журчание *fontana*, была создана самая одинокая песнь, из всех, когда-либо сочиненных, *Ночная песнь*; в ту пору вокруг меня все время носилась мелодия, полная несказанной печали, рефрен которой я снова нашел в словах: «мертвый перед бессмертием»... Летом, вернувшись в то священное место, где мне сверкнула первая молния мысли о Заратустре, я нашел вторую часть «Заратустры». Десяти дней было достаточно; ни в одном из случаев – ни в первом, ни в третьем и последнем мне не понадобилось больше времени. В следующую зиму, под алкионическим небом Ниццы, которое тогда заблестало впер-

---

1 В ориг.: *schlechten Geruechen*, что может иметь значение как «дурных запахов», так и «дурной репутации». – *Прим. ред.*

вые в моей жизни, нашел я третью часть «Заратустры» – и закончил с ним. Меньше года хватило на все.

Много заброшенных уголков и вершин в ландшафте Ниццы освящены для меня незабвенными мгновениями; тот ключевой раздел, который носит название «О старых и новых скрижалях», был создан во время труднейшего восхождения от станции к чудесному мавританскому горному гнезду Эца – мои мускулы всегда становились ловчее всего, когда в изобилии текла творческая сила. Одухотворено *те-ло*: «душу» оставим в покое... Меня часто видели танцующим; я мог тогда, без тени усталости, по семь-восемь часов бродить в горах. Я хорошо спал, много смеялся – я был исключительно вынослив и терпелив.

## 5.

За вычетом этих десятидневных творений, годы во время и главным образом *после* «Заратустры» были ни с чем не сравнимым бедствием. Дорого расплачиваешься за то, что ты бессмертен: за это не раз умираешь при жизни. – Есть нечто, что называю я *rancune*<sup>1</sup> великого: всё великое, всякое творение, всякий поступок, однажды совершенный, немедленно обращается *против* того, кто его совершил. Именно потому, что он его совершил, он теперь *слаб*, он не выдерживает больше своего поступка, он не смотрит ему больше в лицо. Иметь *за* собой нечто, чего ты никогда не смел желать, нечто, в чем завязан узел в судьбе человечества, – и нести теперь это *на* себе!.. Это может почти раздавить... *Rancune* великого! – Второе – это ужасная тишина, которую слышишь вокруг. У одиночества семь шкур; ничто не проникает сквозь них. Приходишь к людям, приветствуешь друзей: новая пустыня, ни одного приветного взгляда. В лучшем случае нечто вроде возмущения. Такое возмущение, пусть в очень различной степени, я испытывал со стороны почти каждого, кто был мне близок; кажется, ничто не оскорбляет глубже, чем если вдруг дают почувствовать дистанцию, – *благородные* натуры, которые не могут жить без чув-

---

1 злопамятность, злоба (*фр.*).

ства пиетета, редки. – Третье – это абсурдная раздражительность кожи к маленьким уколам, своего рода беспомощность перед всем маленьким. Она кажется мне обусловленной той колоссальной тратой всех оборонительных сил, которая является предпосылкой всякого *творческого* деяния, всякого деяния, проистекающего из наиболее личного, интимного, сокровенного. *Малые* оборонительные возможности при этом словно выставлены на всеобщее обозрение; к ним нет никакого притока сил. – Я рискну еще указать, что ухудшается пищеварение, не хочется двигаться, слишком часто на тебя нападает озноб, а также чувство недоверия – того недоверия, которое во многих случаях есть простая этиологическая ошибка. В таком состоянии почувствовал я однажды приближение стада коров, прежде чем увидел его, – благодаря возвращению более мягких, более человеколюбивых мыслей: в *этом* есть теплота...

## 6.

Произведение это стоит совершенно особняком. Оставим в стороне поэтов; быть может, вообще ничто и никогда не было сотворено от такого избытка силы. Мое понятие «дионисического» претворилось здесь в *наивысшее деяние*; применительно к нему вся остальная человеческая деятельность кажется бедной и условной. Какой-нибудь Гёте, какой-нибудь Шекспир ни минуты не могли бы дышать в этой атмосфере чудовищной страсти и высоты; Данте в сравнении с Заратустрой есть только верующий, а не тот, кто *создает* впервые истину, *правлящий миром дух*, судьбу; поэты Веды суть только священники и не достойны даже развязать ремень у обуви Заратустры; и все сказанное есть еще только самый минимум и не дает никакого понятия о той дистанции, о том *лазурном* одиночестве, в котором живет это произведение. У Заратустры есть вечное право сказать: «я замыкаю круги вокруг себя и священные границы; все меньше поднимающихся со мною на всё более высокие горы; я строю хребет из всё более священных гор». Пусть соединят воедино дух и добро всех великих душ: все вместе не были бы они в состоянии произнести хотя бы одну речь Зара-

тустры. Грандиозна та лестница, по которой он поднимается и спускается; он дальше видел, дальше хотел, дальше *мог*, чем какой бы то ни было человек. Он противоречит каждым словом, этот самый утверждающий из всех умов; в нем все противоположности связаны в новое единство. Вышние и низшие силы человеческой природы, сладчайшее, легкомысленнейшее и ужаснейшее с бессмертной уверенностью струятся из *единого* источника. До этого не знали, что такое высота, что такое глубина, еще меньше знали, что такое истина. Нет ни одного мгновения в этом откровении истины, которое было бы уже предвосхищено, угадано кем-либо из величайших. До Заратустры не было мудрости, не было исследования души, не было искусства говорить; самое близкое, самое повседневное говорит здесь о неслыханных вещах. Сентенция, дрожащая от страсти; красноречие, ставшее музыкой; молнии, бьющие в не разгаданные доселе будущие. Самая могучая сила сравнений, какую видели мы когда-либо – убожество и игрушка рядом с этим возвращением языка к природе образности. – А как Заратустра спускается с гор и говорит каждому самое доброжелательное! Как он касается нежной рукой даже своих противников, священников, и вместе с ними страдает о них! – Здесь в каждом мгновении преодолен человек, понятие «сверхчеловека» становится здесь высшей реальностью, – в бесконечной дали лежит все то, что до сих пор называлось великим в человеке: лежит *ниже* его. Никому и никогда еще не грезилось в качестве примет величия алкионическое, легконоготь, постоянное присутствие задорной злости и все то, что еще типично для типа Заратустры. Именно в этом пространственном охвате, в этой доступности противоположностям Заратустра ощущает себя *наивысшей разновидностью всего сущего*; и если послушать, какое он дает ей определение, то можно отказаться от поисков равного ему.

– душа с самой длинной лестницей, могущая опуститься очень низко,

– самая обширная душа, которая дальше всего может бегать, блуждать и заблуждаться в себе самой; самая необходимая, которая ради удовольствия бросается в случайность, –

– сущая душа, которая погружается в становление; имущая, которая *хочет* волишь и желать, –  
 – убегаящая от себя самой, широкими кругами себя догоняющая; самая мудрая душа, которую слаще всего уговаривает безумие, –  
 – больше всего любящая себя, в которой все вещи находят свое течение и противотечение, свой прилив и отлив – –

Но *это и есть понятие самого Диониса*. – Именно к нему приводит еще одно размышление. Психологическая проблема в типе Заратустры заключается в том, как это он, говорящий такое неслыханное Нет, *творящий* такое Нет всему, чему до сих пор говорили Да, может, несмотря на это, быть противоположностью отрицающего духа; каким образом дух, несущий самое тяжкое бремя судьбы, роковую задачу, может, несмотря на это, быть самым легким и самым потусторонним – Заратустра есть танцор, – как это он, обладающий самым жестоким, самым страшным познанием действительности, посещенный «самой бездонной мыслью», не находит, несмотря на это, никакого возражения против существования, и даже против его вечного возвращения, – а скорее, находит еще одно основание *самому быть* вечным утверждением всех вещей, говорить «огромное, безграничное Да и Аминь»... «Во все бездны несу я свое благословляющее Да»... *Но это и есть еще раз понятие Диониса*.

## 7.

Каким языком будет говорить подобный дух, когда он заговорит с самим собой? Языком *дифирамба*. Я – изобретатель дифирамба. Пусть послушают, как говорит Заратустра с самим собою *перед восходом солнца* (III, 18): таким изумрудным счастьем, такой божественной нежностью не обладал еще ни один язык до меня. Даже глубочайшая тоска такого Диониса обращается еще в дифирамб; я беру в доказательство *Ночную песнь* – бессмертную жалобу того, кто из-за преизбытка света и мощи, из-за своей *солнечной* природы обречен не любить.



Ночь: теперь говорят громче все бьющие ключи.  
И моя душа тоже бьющий ключ.

Ночь: только теперь пробуждаются все песни влюбленных. И моя душа тоже песнь влюбленного.

Что-то неутоленное, неутолимое есть во мне; оно хочет говорить. Жажда любви есть во мне; она сама говорит языком любви.

Я свет; ах, если бы я был ночью! Но в том одиночество мое, что опоясан я светом.

Ах, если бы я был темным и ночным! Как приник бы я к сосцам света!

И еще вас хотел бы я благословить, вы, искрящиеся звездочки и светлячки небес! – и быть блаженно счастливым от ваших даров света.

Но я живу в моем собственном свете, я вновь поглощаю пламя, что вырывается из меня.

Я не знаю счастья берущего; и часто мечтал я о том, что красть должно быть еще блаженнее, чем брать.

В том моя бедность, что рука моя никогда не отдыхает от дарения; в том моя зависть, что я вижу ожидающие глаза и просветленные ночи тоски.

О горе всех, кто дарит! О затмение моего солнца! О жажда желаний! О ненасытный голод среди пресыщения!

Они берут у меня, – но затрагиваю ли я их душу? Пропасьт лежит между Давать и Брать; но даже через малую пропасть трудно перекинуть мост.

Голод вырастает из моей красоты; причинить страдание хотел бы я тем, кому свечу, ограбить хотел бы я одаренных мною – так алчу я злобы.

Отдернуть руку, когда другая рука уже тянется к ней; медлить, как водопад, который медлит в своем падении: так алчу я злобы.

Такое мщение измышляет мой избыток; такое коварство льется из моего одиночества.

Мое счастье дарить замерло в дарении, моя добродетель устала от себя самой и от своего избытка!

Кто постоянно дарит, тому грозит опасность потерять стыд; кто постоянно раздает, у того рука и сердце натирают себе мозоли от бесконечного раздавания.

Мои глаза не проливаются перед стыдом просящих; моя рука слишком огрубела для дрожания наполненных рук.

Куда же ушли слезы из моих глаз и мягкость из моего сердца? О одиночество всех дарящих! О молчаливость всех, кто светит!

Много солнц вращается в пустом пространстве; всему, что темно, говорят они своим светом, – для меня молчат они.

О, в этом вражда света к светящемуся, безжалостно проходит он своими путями.

Несправедливое в глубине сердца к светящемуся, равнодушное к другим солнцам, – так движется всякое солнце.

Подобно буре, летят солнца своими путями, в этом – движение их. Своей неумолимой воле следуют они, в этом холод их.

О, это только вы, темные, вы, ночные, создаете теплоту из светящегося! О, только вы пьете молоко и усладу из сосцов света!

Ах, лед вокруг меня, моя рука обжигается об лед! Ах, жажда во мне, которая томится по вашей жажде!

Ночь: ах, зачем я должен быть светом! И жаждой ночного! И одиночеством!

Ночь: теперь вырывается, как родник, из меня мое желание, – я хочу говорить.

Ночь: теперь говорят громче все бьющие ключи. И моя душа тоже бьющий ключ.

Ночь: теперь пробуждаются все песни влюбленных. И моя душа тоже песнь влюбленного.

## 8.

Такого никогда не сочиняли, никогда не чувствовали, такое никогда не было *выстрадано*: так страдает бог, Дионис. Ответом на такой дифирамб солнечного заточения внутри света была бы Ариадна... Кто, кроме меня, знает, что такое Ариадна!.. Для всех подобных загадок ни у кого до сих пор не было решения, я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь здесь

вообще видел загадки. – Заратустра дает однажды определение своей задаче – это и моя задача – с такой строгостью, что в *мыслетут* не ошибешься: он *утверждающий*, он *говорит Да*, доходя в этом до оправдания, до искупления даже всего минувшего.

Я брожу среди людей, как среди обломков будущего, – того будущего, что вижу я.

И в том всё мое творчество и стремление, чтобы творить и соединить воедино то, что является обломком, и загадкой, и ужасной случайностью.

Как вынес бы я быть человеком, если бы человек не был также поэтом, и отгадчиком, и избавителем от случая!

*Спасти минувших*, и преобразовать всякое «было» в «так хотел я» – лишь это назвал бы я избавлением.

В другом месте он со всей возможной строгостью определяет, чем может быть для него «человек» – *не* предметом любви или даже предметом сострадания, – даже над *великим отвращением* к человеку стал Заратустра господином: человек для него есть бесформенная масса, материал, безобразный камень, нуждающийся в ваятеле.

Не *хотеть* больше, не *ценить* больше и не *созидать* больше! ах, пусть эта великая усталость навсегда останется от меня далекой!

Даже в познании чувствуя я только радость рождения и радость становления моей воли; и если есть невинность в моем познании, то потому, что есть в нем *воля к рождению*.

Прочь от бога и богов тянула меня эта воля; что осталось бы созидать, если бы боги – были здесь!

Но к человеку влечет меня снова и снова страстная воля моя к созиданию; так устремляется молот к камню.

Ах, люди, в камне дремлет для меня образ, моих образов образ! Ах, он должен дремать в самом твердом, самом безобразном камне!

*Страшно свирепствует мой молот против своей тюрьмы*. От камня пылью летят осколки; какое мне дело до этого?

Завершить хочу я: ибо тень подошла ко мне – из всех вещей самая тихая, самая легкая подошла однажды ко мне!

Красота сверхчеловека подошла ко мне, как тень: что мне теперь – до богов!..

Напоследок выдвину еще один постулат: повод к нему дает выделенная строка. Для *дионисической* задачи к числу решающих предпосылок относятся твердость молота, *радость, черпаемая даже в уничтожении*. Императив: «станьте тверды!», самая сокровенная уверенность в том, *что все созидающие тверды*, есть настоящий отличительный признак дионисической природы.

## По ту сторону добра и зла

### *Прелюдия к философии будущего*

#### 1.

Задача для последующих лет была таким образом предначертана со всей возможной строгостью. После того как позитивная часть моей задачи была решена, настала очередь негативной, *негативной* половины: переоценка самих господствовавших до сих пор ценностей, великая война – закливание дня, который проведет черту. Сюда же относится и то, как медленно озираешься вокруг в поисках родственных натур – таких, которые из полноты силы протянули бы тебе руку помощи *в деле уничтожения*. – С этих пор все мои сочинения суть рыболовные крючки; возможно, я лучше кого-либо знаю толк в рыбалке?.. Если ничего не *ловилось*, то это не моя вина. *Не было рыбы...*

#### 2.

Эта книга (1886) во всем существенном есть *критика современности*, не исключая и современных наук, современных искусств, даже современной политики, а заодно и указание

на противоположный этому типаж, который настолько несовременен, насколько это вообще возможно – типаж благородный, утверждающий. В этом последнем смысле книга представляет собою *школу gentilhomme*<sup>1</sup>, если брать это понятие духовнее и *радикальнее*, чем когда-либо. Нужно иметь мужество во плоти, чтобы хотя бы выдержать ее, нужно не знать страха... Все вещи, которыми гордится наш век, воспринимаются здесь как противоречащие этому типуажу, почти как дурные манеры, например, пресловутая «объективность», «сочувствие ко всему страждущему», «историческое чувство» с его раболепством перед чужим вкусом, с его пресмыкательством перед *petits faits*<sup>2</sup>, «научность». – Если вспомнить, что эта книга следует *за* Заратустрой, то легко угадать тот диететический *g* *g*ime, которому она обязана своим возникновением. Глаз, избалованный чудовищным принуждением смотреть *вдаль* – Заратустра более дальнозорок, чем сам царь, – вынужден здесь остро схватывать ближнее, время, *окружающее*. Во всем, и прежде всего в форме, здесь можно увидеть такой вот *намеренный* отказ от тех инстинктов, из которых стал возможен Заратустра. Рафинированность в форме, в замысле, в искусстве *молчания* стоит здесь на переднем плане, психологией тут орудуют с намеренной твердостью и жестокостью – эта книга обходится без добрых слов... На всем этом можно отдохнуть: впрочем, кто угадает, *какого* рода отдых нужен после такой траты доброты, как «Заратустра»?.. Говоря теологически – пусть прислушиваются, ибо я редко говорю как теолог, – сам Бог улегся в конце своего трудового дня под видом змея под древо познания: так отдыхал он от обязанности быть Богом... Он сделал все слишком прекрасным... Дьявол есть только праздность Бога в каждый седьмой день...

---

1 аристократ (*фр.*).

2 маленькие факты, детали (*фр.*).

## Генеалогия морали

### *Пolemическое сочинение*

Три рассмотрения, из которых состоит эта «Генеалогия», с точки зрения выражения, цели и искусства удивлять есть, быть может, самое злое, что до сих пор было написано. Дионис, как известно, – еще и бог мрака. – Зачин здесь всякий раз *должен* вводить в заблуждение, – холодный, научный, даже ироничный, нарочито выпирающий, нарочито оставивший на себе. Постепенно возрастает беспокойство; то и дело молнии; очень неприятные истины, оглашаемые издали с глухим рокотом, – пока наконец не достигается tempo feroce, где все несется вперед с чудовищным напряжением. В конце, всякий раз, среди поистине ужасных раскатов, становится видимой среди густых туч *новая* истина. – Истина *первого* рассмотрения есть психология христианства: рождение христианства из духа ressentiment, а не, как верилось людям, из «духа», – по своей сути встречное движение, великое восстание против господства *аристократических* ценностей. *Второе* рассмотрение дает психологию *совести*: она *не* «голос Бога в человеке», как верилось людям, – она есть инстинкт жестокости, обращающийся вспять, внутрь, после того как он уже не может разрядиться вовне. Жестокость впервые освещается здесь как одно из самых старых оснований культуры, которое даже невозможно представить себе устранимым. *Третье* рассмотрение дает ответ на вопрос, откуда берется чудовищная *власть* аскетического идеала, идеала священника, при том, что это – идеал *вредный* par excellence, воля к гибели, идеал d cadence. Ответ: *не* потому, что за спиной священников действует Бог, как обыкновенно думают, а faute de mieux<sup>1</sup> – потому, что это был до сих пор единственный идеал, ибо он не имел конкурентов. «Ибо человек предпочитает хотеть Ничто, чем ничего *не* хотеть»... Прежде всего недоставало *противоположного идеала* – *вплоть до Заратустры*. – Меня поняли. Три решающие предварительные штудии психолога для переоценки всех ценностей. – Эта книга впервые содержит психологию священника.

---

<sup>1</sup> за неимением лучшего (*фр.*).

## Сумерки идолов

### *Как философствуют молотом*

1.

Это сочинение менее чем в 150 страниц, с интонациями ясными и судьбоносными, демон, который смеется, – плод столь немногих дней, что я стесняюсь назвать их число, – является вообще исключением среди книг: нет ничего более богатого содержанием, более независимого, более опрокидывающего – более злого. Если хотят вкратце составить себе понятие о том, как до меня все стояло вверх ногами, пусть начинают с этого сочинения. То, что называется *идолом* на титульном листе, есть попросту то, что называли до сих пор истиной. *Сумерки идолов* – по-немецки: старая истина подходит к концу...

2.

Нет ни одной реальности, ни одной «идеальности», которая не была бы затронута в этом сочинении (– затронута: какой осторожный эвфемизм!..). Не только *вечные* идолы, но и самые молодые, следовательно, самые хилые. «Современные идеи», например. Порывы великого ветра дуют между деревьями, и всюду падают плоды – истины. В этом расточительность слишком богатой осени: спотыкаешься об истины, некоторые даже давишь насмерть – до того их много... Но в том, что остается в руках, уже нет ничего проблематичного – это уже решения. Только у меня в руках есть масштаб для «истин», теперь я *могу* решать. Как если бы во мне выросло *второе сознание*, как если бы «воля» зажгла во мне свет для себя над *неверной* тропой, по которой она до сих пор шла под откос... *Неверная* тропа – ее называли путем к «истине»... Покончено со всяким «темным стремлением», именно *добрый* человек меньше всего смыслил в верном пути... И, говоря вполне серьезно, никто до меня не знал настоящего пути, пути *вверх*: только с меня начинаются снова надежды, задачи, предписывающие пути

культуры, – я их *благостный вестник*. Именно поэтому являюсь я роком. –

## 3.

Непосредственно по окончании вышеназванного произведения и не теряя ни одного дня, взялся я за чудовищную задачу *Переоценки*, с таким независимо-гордым чувством, с которым ничто не может сравниться, каждую минуту сознавая свое бессмертие и высекая с уверенностью рока знак за знаком на медных скрижалях. Предисловие появилось 3 сентября 1888 года: когда утром, после написания его, я вышел на воздух, предо мною предстал самый прекрасный день, когда-либо виденный мною в Верхнем Энгадине – прозрачный, сверкающий красками, вмещающий в себя все контрасты и все нюансы между льдом и Югом. – Лишь 20 сентября покинул я Зильс-Марию, задержанный наводнениями и в конце концов оставшийся единственным гостем этого чудесного места, чье имя одаряет бессмертием моя благодарность. После путешествия, полного инцидентов и даже опасности для жизни в полузатопленном Комо, до которого я добрался только глубокой ночью, 21-го днем я прибыл в Турин, мое *зарекомендовавшее себя* место, ставшее отныне моей резиденцией. Я снял ту же самую квартиру, которую занимал весной, на виа Карло Альберто 6, III-й этаж, напротив грандиозного палаццо Кариньяно, где родился Виктор Эммануил, с видом на площадь Карло Альберто и на раскинувшиеся дальше холмы. Не колеблясь и ни на мгновение не давая себя отвлечь, я вернулся к работе: оставалось написать лишь последнюю четверть произведения. 30 сентября – день великой победы; завершение «Переоценки»; отдых Бога на берегах По. В тот же день написал я еще и *предисловие* к «Сумеркам идолов», корректура их печатных листов была моим отдыхом в сентябре. – Я никогда не переживал такой осени, я даже не думал, что что-нибудь подобное возможно на земле – Клод Лоррен, задуманный в бесконечность, каждый день, полный все такого же неукротимого совершенства.



## Случай «Вагнер»

### *Проблема музыканта*

#### 1.

Чтобы быть справедливым к этому сочинению, надо страдать от судеб музыки как от открытой раны. *Отчего* страдаю я, страдая от судеб музыки? – Оттого, что музыка лишена своего миропросветляющего, утверждающего характера, – что она теперь музыка *d cadence* и уже не свирель Диониса... Но если допустить, что кто-нибудь в такой же степени ощущает дело музыки своим *собственным* делом, историей *собственных* страданий, то он найдет это сочинение несходительным и чрезмерно мягким. Быть в таких случаях веселым и заодно добродушно высмеивать самого себя – *ridendo dicere severum*<sup>1</sup> там, где *verum dicere*<sup>2</sup> оправдало бы любую суровость, – это сама гуманность. Кто бы собственно мог сомневаться в том, что я, будучи старым артиллеристом, способен выкатить против Вагнера мое *тяжелое* орудие? – Всё, что в этом деле являлось решающим, я оставил при себе – я любил Вагнера. – Наконец, в суть моей задачи и в ее маршрут входит и атака на утонченного «незнакомца», которого не легко разгадать другому – о, мне предстоит открыть еще совсем иных «незнакомцев», чем какого-то Калиостро музыки, – и в еще большей степени, конечно же, атака на становящуюся в духовном отношении все более вялой и бедной инстинктами, все более *почтенной* немецкую нацию, которая с завидным аппетитом продолжает питаться противоположностями и без расстройства пищеварения проглатывает «веру» заодно с научностью, «христианскую любовь» заодно с антисемитизмом, волю к власти (к «Рейху») заодно с *vangile des humbles*<sup>3</sup>... Эта нехватка позиции среди противоположностей! Этот нейтралитет и «самоотверженность» желудка! Этот здравый смысл немецкого *нёба*, которое всему дает равные права, – которое всё

---

1 смесь, говорить горькие вещи (*лат.*). Эпиграф к СВ; см. прим.

2 говорить правду (*лат.*).

3 Евангелие смиренных (*фр.*).

находит вкусным... Без всякого сомнения, немцы – идеалисты... Когда я в последний раз посещал Германию, то застал немецкий вкус за предоставлением равных прав Вагнеру и трубачу из Ээкингена; я сам *собственной персоной* был свидетелем того, как в Лейпциге в честь одного из самых настоящих и самых немецких музыкантов – немецких в старом смысле слова, а не в каком-нибудь там имперско-немецком, – мастера *Генриха Шютца*, основывали ферейн Листа с целью поддержки и распространения *извилистой* церковной музыки... Без всякого сомнения, немцы – идеалисты...

## 2.

Но здесь ничто не должно помешать мне стать грубым и высказать немцам парочку суровых истин: *кто же еще сделает это, если не я?* – Я говорю об их разврате in historicis. Немецкие историки не только утратили *широкий взгляд* на ход, на ценности культуры, все они не только являются шутами политики (или церкви), но даже *подвергают остракизму* этот широкий взгляд. Надо прежде всего быть «немцем», «расой», тогда уже можно принимать решения о всех ценностях и не-ценностях in historicis – устанавливая их... «Немецкое» есть аргумент, «Deutschland, Deutschland über alles» есть принцип, германцы суть «нравственный миропорядок» в истории; по отношению к imperium Romanum – носители свободы, а по отношению к восемнадцатому столетию – реставраторы морали, «категорического императива»... Существует имперская немецкая историография, я боюсь, что существует даже антисемитская, – существует *придворная* историография, и господину фон Трейчке не стыдно... Недавно все немецкие газеты под видом «истины» обошло идиотское мнение in historicis, тезис, к счастью, усопшего эстетического шваба Фишера, с которым *обязан-де согласиться* всякий немец: «Ренессанс и Реформация вместе образуют одно целое – эстетическое возрождение и возрождение нравственное». – От таких тезисов мое терпение подходит к концу, и я испытываю немалое желание, я ощущаю это даже как обязанность – сказать наконец немцам, *что у них уже лежит на совести. У них на совести все великие преступления*

*против культуры, совершенные за четыре столетия!.. И всегда по одной причине: из-за их глубочайшей трусости перед реальностью, которая одновременно является трусостью перед истиной, из-за их, ставшей у них инстинктом, нечестности, из-за «идеализма»... Немцы лишили Европу жатвы, смысла последней великой эпохи, эпохи Ренессанса, в тот момент, когда высший порядок ценностей, когда благородные, жизнеутверждающие и ручающиеся за будущее ценности одержали победу в стане противоположных, упадочнических ценностей, – вплоть до самых инстинктов тех, кто в нем находился! Лютер, это проклятье в монашеском облики, реанимировал церковь и, что в тысячу раз хуже, христианство – в тот момент, когда оно было побеждено... То самое христианство, это ставшее религией отрицание воли к жизни!.. Лютер, невозможный монах, не смогла им быть, который по причине этой своей «невозможности» напал на церковь и – следовательно! – реанимировал ее... У католиков были бы основания устраивать празднества в честь Лютера, сочинять представления в честь Лютера... Лютер – и «нравственное возрождение»! К черту всю психологию! – Без сомнения, немцы – идеалисты. – Дважды, в то самое время, когда с колоссальной отвагой и самопреодолением был обретен правдивый, недвусмысленный, совершенно научный способ мышления, немцы умудрились отыскать окольные пути к старому «идеалу», к примирению между истиной и «идеалом», в сущности – формулы на право отказа от науки, на право лжи. Лейбниц и Кант – это два величайших тормоза интеллектуальной честности Европы! – Наконец, когда на мосту между двумя столетиями d cadence явился форсажор гения и воли, достаточно сильный, чтобы создать из Европы единство, политическое и экономическое единство в целях всемирного правления, немцы с их «войнами за свободу» лишили Европу смысла, чудесного смысла, заключенного в существовании Наполеона, – оттого-то все наступившее, все ныне существующее у них на совести: эта враждебнейшая культуре болезнь и колоссальная глупость под названием национализм, этот le vrose nationale, которым больна Европа, это увековечение мелких государств Европы, мелкой политики. Они лишили Европу самого ее смысла, ее разума – они завели ее в тупик. – Знает ли кто-нибудь,*

кроме меня, путь из этого тупика?.. Немалую задачу снова *связать* народы?..

## 3.

И наконец, отчего бы не дать слова моему подозрению? Немцы и в моем случае опять испробуют все, чтобы из грандиозной судьбы родить мышь. Они до сих пор компрометировали себя на мне, и я сомневаюсь, чтобы в будущем у них вышло что-нибудь лучше. – Ах, как хотелось бы мне оказаться здесь *плохим* пророком!.. Моими читателями и слушателями естественным образом уже сейчас являются русские, скандинавы и французы, – будет ли их все больше? – Немцы вписали в историю познания только двусмысленные имена, они всегда производили только «бессознательных» фальшивомонетчиков (Фихте, Шеллинг, Шопенгауэр, Гегель, Шлейермахер заслуживают этого имени в той же мере, что и Кант и Лейбниц; все они только шляйермахеры<sup>1)</sup>: они никогда не дождутся чести, чтобы первый *правдивый* ум в истории мысли, ум, в котором истина вершит суд над чеканкой фальшивых монет, коей промышляли на протяжении четырех тысячелетий, отождествлялся с немецким духом. «Немецкий дух» – это *мой* дурной воздух: мне трудно дышать в этой, ставшей инстинктом, нечистоплотности in psychologicis, которую выдает каждое слово, каждая мина немца. Они никогда не проходили через семнадцатый век сурового самоиспытания, как французы, – какой-нибудь Ларошфуко, какой-нибудь Декарт стократ превосходят правдивостью лучшего немца, – у них до сих пор не было психологов. Но психология – это почти масштаб для *чистоплотности* или *нечистоплотности* расы... А если нет даже чистоплотности, то какая тут может быть *глубина*? У немца, как у женщины, не добраться до основания, *он не имеет его*: вот и все. Но при этом он даже и не плосок. – То, что в Германии называется «глубоким», есть как раз тот инстинкт нечистоплотности в отношении себя, о котором я сейчас го-

---

1 Фамилия Шлейермахер означает буквально «делающий покрывала». – *Прим. ред.*

ворю: не *хотят* в себе разобраться. Не вправе ли я пустить в оборот слово «немецкий» как международную монету для обозначения *этой* психологической испорченности? – В настоящий момент, например, немецкий кайзер называет своим «христианским долгом» освобождение рабов в Африке: среди нас, *других* европейцев, это называлось бы просто «немецким»... Создали ли немцы хоть одну книгу, в которой была бы глубина? У них нет даже понятия о том, что может быть глубокого в книге. Я знал ученых, которые считали глубоким Канта: при прусском дворе, я боюсь, глубоким считают господина фон Трейчке. Когда же я при случае хвалю Стендаля, как глубокого психолога, случается, что немецкие университетские профессора просят назвать его имя по буквам...

## 4.

И почему бы мне не идти до конца? Я люблю убирать со стола. Мне будет даже лестно слыть человеком, *par excellence* презиращим немцев. Свое *недоверие* к немецкому характеру я выразил уже в двадцать шесть лет (третье «Несвоевременное», с. 71) – немцы для меня невыносимы. Когда я пытаюсь себе представить породу людей, которые претили бы всем моим инстинктам, то у меня всякий раз выходит немец. Первое, по чему я стараюсь разгадать человека, это – насколько у него в крови чувство дистанции, видит ли он повсюду ранжир, степень, иерархию между человеком и человеком, *умеет ли он различать*: этим отличается *gentilhomme*; во всяком ином случае он безнадежно принадлежит к великодушному, ах! такому добродушному понятию *canaille*. Но немцы и есть *canaille* – ах! они так добродушны... Общение с немцами унижает: немец *становится на равную ногу*... Если не считать общения с некоторыми художниками, прежде всего с Рихардом Вагнером, я не переживал с немцами ни одного хорошего часа... Учитывая, что глубочайший ум всех тысячелетий явился среди немцев, какая-нибудь спасительница Капитолия может ведь вообразить, что и ее весьма непрекрасную душу тоже по крайней мере примут в расчет... Я не выношу этой расы, среди

которой всякий раз попадаешь в дурное общество, у которой нет пальцев для nuances – горе мне! я-то ведь nuances, – у которой нет esprit в ногах и которая даже не умеет ходить... В конечном счете у немцев вовсе нет ступней, у них только ноги... У немцев отсутствует всякое понятие о том, как они пошлы, но это есть суперлатив пошлости – они даже не *стыдятся* быть просто немцами... Они участвуют во всех разговорах наравне с другими, они считают самих себя решающей инстанцией, я боюсь, что даже насчет меня они уже решили... Вся моя жизнь есть доказательство de rigueur этих положений. Напрасно я ишу хотя бы одного признака такта, de licatesse в отношении меня. Со стороны евреев – пожалуйста, со стороны немцев – еще ни разу. Моя натура хочет, чтобы к каждому я был мягок и доброжелателен, – у меня есть *право* на то, чтобы не делать различий, – это не мешает мне, однако, ни на что не закрывать глаз. Я не делаю исключений ни для кого, менее всего – для своих друзей; я надеюсь, что это в конечном счете никак не повредило моей гуманности в отношении них. Есть пять-шесть вещей, которые всегда были для меня вопросом чести. – И несмотря на это, правдой остается то, что почти каждое из писем, полученных мною за последние годы, я ощущаю как цинизм: в доброжелательстве ко мне заключается больше цинизма, чем в иной ненависти... Я скажу в лицо каждому из моих друзей, что он ни разу не удосужился *изучить* хотя бы одно мое сочинение: я узнаю по малейшим признакам, что они даже не знают, что там написано. Что же касается моего Заратустры, то кто из моих друзей увидел в нем нечто большее, чем непозволительную, но, к счастью, совершенно безразличную им, самонадеянность?.. Десять лет: и никто в Германии не счел своим внутренним долгом защитить мое имя от абсурдного замалчивания, под которым оно было погребено; иностранец, датчанин оказался первым, кто проявил достаточную тонкость инстинкта и *мужество*, кто возмущился против моих мнимых друзей... В каком немецком университете были бы возможны нынче лекции о моей философии, которые читал в Копенгагене нынешней весной тем самым в очередной раз рекомендовавший себя психолог д-р Георг Брандес? – Сам я никогда не страдал из-за всего этого; *необходимое* не оскорб-

ляет меня; amor fati – моя сокровенная натура. Это, однако, не исключает того, что я люблю иронию, даже всемирно-историческую иронию. И вот, приблизительно за два года до разрушительного удара молнией *Переоценки*, которая повергнет Землю в конвульсии, я послал в мир «Случай “Вагнер”»: пусть же немцы еще раз бессмертно ошибутся во мне и *увекочечат* себя! Для этого как раз есть еще время! – Уже получилось? – Восхитительно, господа германцы! Примите мои поздравления...<sup>1</sup> И вот как раз одна старинная подруга пишет мне, видимо, чтобы я не испытывал недостатка в друзьях: она, дескать, только что смеялась надо мной... И это – в тот момент, когда на мне лежит несказанная ответственность, когда слова, обращенные ко мне, должны быть нежны, а взгляды – почтительны как никогда. Ведь я несу на своих плечах судьбу человечества.

---

<sup>1</sup> После этого многоточия следует текст (в моем переводе), не публиковавшийся в предыдущих русских изданиях Ницше. – *Прим. ред.*

## Почему я судьба

### 1.

Я знаю свой жребий. Когда-нибудь с моим именем будет связываться воспоминание о чем-то чудовищном – о кризисе, какого никогда не бывало на земле, о глубочайшей для советской коллизии, о выборе, сделанном *против* всего, во что до сих пор верили, чего требовали, что освящали. Я не человек, я динамит. – И при всем том во мне нет ничего общего с основателем религии – всякая религия есть дело черни, я вынужден мыть руки после каждого соприкосновения с религиозными людьми... Я не *хочу* «верующих», полагаю, я слишком насмешлив, чтобы верить в самого себя, я никогда не обращаюсь к массам... Я ужасно боюсь, чтобы меня не объявили когда-нибудь *святым*; теперь вы догадываетесь, почему я *наперед* выпускаю эту книгу: она должна защитить меня от искажений... Я не хочу быть святым, лучше уж – шутком... Может быть, я и есмь шут... И тем не менее или, скорее, тем *более* – ибо до сих пор не было ничего более лживого, чем святыне, – моими устами глаголет истина. – Но моя истина *страшна*: потому что до сих пор истиной называлась *ложь*. – *Переоценка всех ценностей* – вот моя формула для акта высшего самоосмысления человечества, который стал во мне плотью и гением. Мой жребий хочет, чтобы я был первым *примичным* человеком, чтобы я сознавал себя в противоречии с ложью тысячелетий... Я первый открыл истину благодаря тому, что я первый ощутил – *обонянием* – ложь как ложь... Мой гений в моих ноздрях... Я противоречу, как никогда не противоречили, и, несмотря на это, я противоположность духа отрицания. Я *благовестник*, какого не бывало до сих пор, я знаю задачи настолько высокие, что о них до сих пор даже не было представления; благодаря мне снова существуют надежды. При всем том я неизбежно и человек рока. Ибо когда истина вступит в борьбу с ложью тысячелетий, у нас будут потрясения, судороги землетрясений, пере-



мещение гор и долин, какие никогда и не снились. Понятие политики целиком растворится в войне идей, все институты власти старого общества взлетят на воздух – они все покоятся на лжи: будут войны, каких еще не бывало на земле. Только с меня начинается на Земле *большая политика*.

2.

Хотите формулы для такой судьбы, *которая становится человеком?* – Она значится в моем Заратустре.

*– и кто должен быть творцом в добре и зле, поистине, тот должен быть сперва разрушителем, разбивающим ценности.*

*Так принадлежит высшее зло к высшему благу, и это – творческое благо.*

Я гораздо более страшный человек, чем кто-либо из существовавших до сих пор; это не исключает и того, что я окажусь самым благодетельным. Я знаю радость *уничтожения* в такой степени, которая соразмерна моей *силе* уничтожения – в том и другом я повинуюсь своей дионисической натуре, которая не умеет отделять отрицающего деяния от утверждающего слова. Я первый *имморалист*: поэтому я *истребитель* par excellence.

3.

Меня не спрашивали, а должны были бы спросить, что именно в моих устах, устах первого имморалиста, означает имя *Заратуштры*<sup>1</sup>: ибо то, что составляет чудовищную единственность этого перса в истории, является прямой противоположностью имморализму. Заратуштра первый увидел в борьбе добра и зла истинное колесо хода вещей; перевод морали на язык метафизики в качестве силы, причины, цели в себе – дело *его* рук. Но этот вопрос был бы в сущности уже и ответом. Заратуштра *создал* это роковое заблуждение,

---

<sup>1</sup> Здесь речь идет уже не о герое Н., а о древнеиранском пророке. См. прим. к 2[4] в ПСС 12.

мораль: следовательно, он должен быть и первым, кто *признает* его таковым. Не только потому, что у него здесь более долгий и богатый опыт, чем у любого другого мыслителя, – вся история в конечном счете не что иное, как экспериментальное опровержение тезиса о так называемом «нравственном миропорядке», – гораздо важнее, что Заратуштра правдивее любого другого мыслителя. Его и только его учение почитает правдивость за высшую добродетель – это значит, за противоположность *трусости* «идеалиста», который обращается в бегство перед реальностью; в Заратуштре воплощено больше мужества, чем у всех мыслителей вместе взятых. Говорить правду и *хорошо стрелять из лука* – такова персидская добродетель. – Понимают ли меня?.. Самопреодоление морали из правдивости, самопреодоление моралиста в его противоположность – в *меня* – вот что означает в моих устах имя Заратуштры.

## 4.

В сущности в моем слове *имморалист* заключаются два отрицания. Я отрицаю, во-первых, тип человека, который до сих пор почитался наивысшим, – *добрых, доброжелательных, благодетельных*; я отрицаю, во-вторых, тот род морали, который добился значимости и господства в качестве морали как таковой, – мораль *d cadence* или, говоря предметнее, *христианскую* мораль. На второе отрицание можно смотреть как на более решающее, поскольку, в общем и целом, завышенная оценка доброты и доброжелательства мною уже рассматривается как следствие *d cadence*, симптом слабости, несовместимый с восходящей и утверждающей жизнью: в утверждении отрицание и *уничтожение* суть условия. – Я остановлюсь сперва на психологии доброго человека. Чтобы оценить, чего стоит тот или иной тип человека, надо подсчитать цену, в которую обходится его поддержание, – надо знать его условия существования. Условие существования добрых есть *ложь*: иначе говоря, вопиющее *не-желание* видеть, какова в сущности реальность; я хочу сказать, она *не* такова, чтобы каждую минуту вызывать доброжелательные инстинкты, еще менее, чтобы допускать ежеминутное

вмешательство близоруких добродушных рук. Вообще смотреть на *бедствия* всякого рода как на возражение, как на нечто, что должно быть *устранено*, есть *niaiserie par excellence*, есть по своим последствиям, в общем и целом, настоящее несчастье, роковая глупость, – почти такая же, как, скажем воля, пожелавшая устранить дурную погоду, – из-за сострадания, например, к бедным людям... В великой экономии целого ужасы реальности (в аффектах, желаниях, в воле к власти) в неизмеримой степени более необходимы, чем эта форма маленького счастья, так называемая «доброта»; надо быть очень снисходительным, чтобы уделять вообще место последней, ибо она обусловлена инстинктом лживости. У меня будет серьезный повод доказать чрезмерно зловещие последствия *оптимизма*, этого исчадия *homines optimi*, для всей истории. Заратустра – первый, кто понял, что оптимист есть такой же *d cadent*, как и пессимист, и, пожалуй, еще более вредный, – сказал: «*Добрые люди никогда не говорят правды. Обманчивые берега и ложную безопасность указали вам добрые; во лжи добрых были вы рождены и окутаны ею. Добрые всё извратили и исказили до самого основания*». К счастью, мир не построен на таких инстинктах, чтобы только добродушное, стадное животное находило в нем свое узкое счастье; требовать, чтобы все стали «добрыми людьми», стадными животными, голубоглазыми, доброжелательными, «прекраснодушными», или, как этого желает господин Герберт Спенсер, альтруистами, значило бы отнять у бытия его *великий* характер, значило бы кастрировать человечество и низвести его к жалкой китайщине. – *И это пытались сделать!.. Именно это называли моралью...* В этом смысле именует Заратустра добрых то «последними людьми», то «началом конца»; прежде всего он воспринимает их как *самый вредоносную разновидность людей*, ибо они отстаивают свое существование за счет *истины*, равно как и за счет *будущего*.

Ибо добрые не могут *созидать*: они всегда начало конца: – они распинают того, кто пишет *новые ценности* на новых скрижалях, они приносят *себе* в жертву будущее, – они распинают всё человеческое будущее!

Добрые – были всегда началом конца...

И какой бы вред ни нанесли клеветники на мир, – *вред добрых – самый вредный вред*.

## 5.

Заратустра, первый психолог добрых, есть – следовательно – друг злых. Если декадансная порода людей восходит в ранг высшей породы, то это может произойти только за счет противоположной ей породы – сильных и уверенных в жизни людей. Если стадное животное предстает в сиянии чистейшей добродетели, то исключительный человек должен быть уценен до «злого». Если лживость во что бы то ни стало использует для своей оптики слово «истина», то все действительно правдивое должно обретаться под самыми дурными именами. Заратустра не оставляет здесь никаких сомнений, он говорит: именно познание добрых, «лучших» было тем, что внушало ему ужас перед человеком; из *этого* отвращения выросли у него крылья, «чтобы унести в далекое будущее», – он не скрывает, что *его* тип человека, тип относительно сверхчеловеческий, сверхчеловечен именно по отношению к *добрым*, что добрые и праведные называли бы его сверхчеловека *дьяволом*...

Вы, высшие люди, каких встречал мой взор! в том сомнение мое в вас и мой тайный смех: я угадываю, вы бы назвали моего сверхчеловека – дьяволом!

Так чужда ваша душа всего великого, что сверхчеловек был бы вам *страшен* в своей доброте...

Из этого места, а не из какого другого следует исходить, чтобы понять, чего *хочет* Заратустра: тот род людей, который он конципирует, конципирует реальность, *как она есть*: он достаточно силен для этого – он не отчужден, не отдален от нее, он и есть *сама реальность*, и он несет в себе все, что есть в ней страшного и загадочного, *только при этом условии в человеке может быть величие*...

## 6.

Но еще и в другом смысле избрал я для себя отличительным, почетным знаком слово *имморалист*; я горд тем, что у меня есть это слово, выделяющее меня из всего человечества. Никто еще не воспринимал *христианскую* мораль как нечто, находящееся *ниже* себя; для этого нужна была высо-

та, взгляд вдаль, совершенно неслыханная до сих пор психологическая глубина и бездонность. Христианская мораль была до сих пор Цицецией всех мыслителей – они были у нее в услужении. – Кто до меня спускался в пещеры, из которых клубится ядовитое дыхание такого идеала – *клеветы на мир*? Кто хотя бы осмеливался догадываться, *что* это суть пещеры? Кто вообще среди философов был до меня *психологом*, а не его противоположностью, «мошенником более высокого класса», «идеалистом»? До меня еще не было никакой психологии. – Быть здесь первым может оказаться проклятием; в любом случае это – судьба: *ибо ты и презираешь, как первый... Отвращение к человеку есть моя опасность...*

## 7.

Поняли ли меня? – Что меня отделяет, что отстраняет меня от всего остального человечества, так это то, что я *открыл* христианскую мораль. Поэтому я нуждался в таком слове, которое заключало бы в себе вызов каждому. То, что глаза на это не открылись раньше, я считаю величайшей нечистоплотностью, какая только есть на совести у человечества, самообманом, обращенным в инстинкт, принципиальной волей *не* видеть ничего происходящего, никакой причинности, никакой действительности, фабрикацией фальшивых монет *in psychologis*, доходящей до преступления. Слепота перед христианством есть *преступление per excellence* – преступление *против жизни*... Тысячелетия, народы, первые и последние, философы и старые бабы – не считая пяти-шести моментов истории и меня, как седьмого, – все в этом отношении стоят друг друга. Христианин был до сих пор «моральным существом», – *curiosum*, не знающий себе равных, – и, *в качестве* «морального существа» – более абсурдным, лживым, тщеславным, легкомысленным, *более вредным самому себе*, чем это могло бы присниться самому отъявленному мизантропу. Христианская мораль – самая злостная форма воли ко лжи, настоящая Цицеция человечества: то, что его *испортило*. Не заблуждение как заблуждение ужасает меня в этом зрелище, – *не* тысячетлетняя нехватка «доброй воли», дисциплины, приличия, мужества в духов-

ном отношении, которая обнаруживается в его победе: меня ужасает отсутствие естественности, тот совершенно чудовищный факт, что сама *противоестественность* получила в качестве морали высочайшие почести и осталась висеть над человечеством как закон, как категорический императив!.. До такой степени ошибаться – *не* поодиночке, *не* каким-нибудь народом, но целым человечеством!.. Учат презирать самопервейшие инстинкты жизни; *выдумали* «душу», «дух», чтобы посрамить тело; в условии жизни, в половой любви, учат переживать нечто нечистое; в том, что глубоко необходимо для развития, в *суровом* себялюбии (– уже одно это слово было хулою! –) ищут злое начало; и напротив, в типичном признаке упадка, в противоречии инстинкту, в «самоотвержении», утрате равновесия, «обезличенности» и «любви к ближнему» (– *одержимости* ближним!) видят *более* высокую ценность, что я говорю! – *ценность как таковую!*.. Как! значит, само человечество в *d cadence*? И всегда было в нем? – О чем можно говорить наверняка, так это о том, что ему *преподавали* лишь ценности декаданса в качестве высших ценностей. Мораль самоотречения есть мораль упадка *par excellence*, факт «я погибаю» перенесен здесь в императив: «вы все *должны* погибнуть» – и *не только* в императив!.. Эта единственная мораль, которой до сих пор учили, мораль самоотречения, изобличает волю к концу, она *отрицает* жизнь в ее глубочайших основаниях. – Но тут остается открытой возможность, что вырождается не человечество, а только та паразитирующая порода людей, *священников*, которые с помощью морали долгались до звания определителей его ценностей, – которые угадали в христианской морали свое средство к *власти*... И на самом деле, *мое* мнение таково: учителя, вожди человечества, все теологи были еще и *d cadents*; *отсюда* переоценка всех ценностей в нечто враждебное жизни, *отсюда* мораль... *Определение морали*: мораль – это идиосинкразия *d cadents*, с тайным умыслом *отомстить* жизни – и этот умысел *увенчался* успехом. Я придаю ценность *этому* определению.

## 8.

Поняли ли меня? – Я ведь не сказал ни единого слова, которое не было бы сказано еще пять лет назад устами Заратустры. – *Открытие* христианской морали есть событие, не имеющее себе равных, настоящая катастрофа. Кто способен просветить относительно нее, тот forse majeure, рок, – он ломает историю человечества надвое. Живут либо *до* него, либо *после* него... Молния истины угодила именно в то, что до сих пор стояло на самом возвышении; кто понимает, *что* здесь уничтожено, пусть посмотрит, осталось ли у него вообще еще что-нибудь в руках. Все, что до сих пор называлось «истиной», признано самой вредной, коварной, подземной формой лжи; святой предлог «улучшить» человечество признан хитростью, рассчитанной на то, чтобы *высосать* саму жизнь, обескровить ее. Мораль как *вампиризм*... Кто открыл мораль, открыл тем самым негодность всех ценностей, в которые верят или верили; он уже не видит ничего почтенного в наиболее почитаемых, даже объявленных *святыми* человеческих типах, он видит в них самую губительную разновидность вырожденков, – губительную *потому, что они очаровывали*... Понятие «Бог» изобретено как противоположность понятию жизни – в нем сведено в ужасающее единство всё вредное, отравляющее, клеветническое, вся смертельная враждебность к жизни! Понятие «потустороннего», «истинного мира» изобретено, чтобы обесценить *единственный* мир, который существует, чтобы не оставить никакой цели, никакого разума, никакой задачи для нашей земной реальности! Понятия «душа», «дух», под конец еще и «бессмертная душа» изобретены, чтобы презирать тело, чтобы сделать его больным – «святым», чтобы всему, что в жизни заслуживает серьезного отношения, вопросам питания, жилища, духовной диеты, ухода за больными, гигиены, климата, противопоставить ужасное легкомыслие! Вместо здоровья «спасение души» – иными словами, *folie circulaire*<sup>1</sup>, мечущийся между судорогами покаяния и истерией искупления! Понятие «греха» изобретено вместе с подручным пыточным инструментом, понятием «свобод-

---

<sup>1</sup> циркулярный психоз (*фр.*).

ной воли», чтобы сбить с толку инстинкт, чтобы сделать вторую натурой недоверие к инстинктам! В понятии «самоотвержения», «самоотречения» настоящий признак *d cadence*, падкость *соблазну* вредного, не-*умение*-найти-свою-пользу, саморазрушение обращены вообще в признак ценности, в «долг», «святость», «божественное» в человеке! Наконец – и это самое страшное – в понятии *доброто* человека взята сторона всего слабого, больного, неудавшегося, страдающего-по-себе, – всего, *что должно погибнуть*; закон *селекции* перечеркнут, идеал сделан из противоречия человеку гордому и удавшемуся, утверждающему, уверенному в будущем и обеспечивающему это будущее – он называется отныне *злым*... И всему этому верили как *морали*! – *Ecrasez l'infame*!

9.

Поняли ли меня? – *Дионис против Распятого*...

---

1 раздавите гадину (*фр.*). Слова Вольгера.



# Приложение

## Список сокращений

### *Произведения*

- А – «Антихрист».  
ВН – «Веселая наука».  
ГМ – «К генеалогии морали».  
ДД – «Дионисовы дифирамбы».  
ДШ – «Давид Штраус как писатель и исповедник».  
ЕН – «Ессе homo».  
НСВ – «Ницше contra Вагнер».  
ПСДЗ – «По ту сторону добра и зла»  
РВБ – «Рихард Вагнер в Байройте»  
СВ – «Случай “Вагнер”».  
СЕТ – приложение к ЧСЧ «Странник и его тень».  
СИ – «Сумерки идолов».  
СМИ – приложение к ЧСЧ «Смешанные мнения и изречения».  
ТГЗ – «Так говорил Заратустра».  
УЗ – «Утренняя заря».  
ЧСЧ – «Человеческое, слишком человеческое».  
ШВ – «Шопенгауэр как воспитатель».

### *Издания Ницше*

- АМ – Ф. Ницше. Антихристианин. Пер А. Михайлова. В: «Сумерки богов». М.: «Политиздат», 1989. Сс. 17–93.  
КСВ – Ф. Ницше. Сочинения в 2 т. М.: «Мысль», 1990. Под ред. К. Свасьяна.  
НП – Ф. Ницше. Письма. М., «Культурная революция», 2007. Пер. и сост. И. Эбаноидзе.  
ПСС – Ф. Ницше. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. М., «Культурная революция», 2005–. Ссылки на ТГЗ (4-й том ПСС) даются с указанием номеров строк (стр.).  
KSA – Friedrich Nietzsche. Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bde. Hrsg. v. G. Colli u. M. Montinari. München: Deutscher Taschenbuch Verlag / Berlin: W. De Gruyter, 1999.  
NWZ – Erich F. Podach. Friedrich Nietzsches Werke des Zusammenbruchs. Heidelberg: Wolfgang Rothe Verlag, 1961.

*Специальные обозначения, используемые в комментарии*

Dm (Druckmanuskript) – рукопись для печати, на основе которой делается первое издание.

Rs (Reinschrift) – чистовая рукопись, предшествующая рукописи для печати.

GSA – архив Гёте и Шиллера (Goethe-Schiller-Archiv) в Веймаре.

КиМ – Д. Колли и М. Монтинари.

- – пропущенные слова в рукописи.
- – – незаконченная фраза в рукописи.
- / – конец строки в рукописи.

## Ессе homo

*Рукопись и фальсификации*

ЕН впервые вышел в 1908 г. под редакцией Рауля Рихтера. Тогда же была составлена папка, в которой Dm Ессе homo находился на момент подготовки издания КиМ. Листы в ней можно классифицировать следующим образом:

а) пропагандированные (т. е. пронумерованные) самим Н. листы, исписанные с одной либо с обеих сторон, в некоторых случаях склеенные из нескольких фрагментов. Титульный лист, предисловие и содержание пронумерованы

римскими цифрами (I – V), остальные листы – арабскими: с 1 по 44 и с 48 по 49. На листе 44 заканчивается глава «*Почему я судьба*», после этого, согласно оглавлению, помещенному на листе V, должны были следовать разделы «*Объявление войны*» и «*Молот говорит*». «*Молот говорит*», то есть параграф 30 из главы «*О старых и новых скривалях*» ТГЗ, которым заканчивается также СИ, помещается на листах 48–49. Соответственно следует предположить, что на листах 45–47 помещалось «*Объявление войны*». Текст под названием «*Объявление войны*» был, согласно свидетельству Элизабет Фёрстер-Ницше, сожжен матерью Н. из-за содержавшегося в нем «оскорбления Величества», а именно, – слов о «*натянувших на себя пурпур идиотах*». Это свидетельство позволяет судить о характере «*Объявления войны*» и ассоциировать его с сохранившимися черновиками, опубликованными в 13-м томе ПСС: фрагменты 25[1] (с заголовком «*Большая политика*»), 25[6] (где содержится процитированное «оскорбление Величества»), 25[11], 25[13] (с заголовком «*Война не на жизнь, а на смерть дому Гогенцоллернов*») и 25[14]. Как следует из письма Августу Стриндбергу, еще в начале декабря Н. намеревался отправить «*первые экземпляры <ЕН> с письменным объявлением войны <курсив Н.> князю Бисмарку и молодому кайзеру*» (НП, с. 348). Таким образом, характер «*Объявления войны*» и его место в ЕН представляются достаточно очевидными. Не очевиден лишь его объем – действительно ли оно занимало три листа в рукописи, – из-за чего остается вероятностью того, что и «*Закон против христианства*», пронумерованный Н. как 47-й лист рукописи (чего? ЕН или А? См. выше), хотя и отсутствовал в оглавлении ЕН, мог быть в какой-то момент включен Н. в состав этой книги. Впрочем, вероятность эта – сугубо гипотетическая и едва ли может приниматься во внимание при публикации *Esse homo*.

б) не пропагинированные Н. листы, содержащие тем не менее однозначные указания Н. на их расположение в тексте ЕН; впоследствии они были пропагинированы с помощью букв<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> В четырех случаях – на листах 6, 12, 32 и 35 – пагинация с помощью букв (ба и т. п.) – проставлена самим Н.

в) три записки, которые, по указаниям Н., были на соответствующих страницах приклеены наборщиком в лейпцигской типографии.

г) листы, которые (по мнению КиМ) оказались в папке с ЕН после 1908 г., и не относятся к тексту ЕН. Это: 1) Записка с отвергнутым самим Н. заголовком «*Ессе homo. / Подарок / моим друзьям*»; 2) Черновой вариант 2-го параграфа главы «*Почему я пишу такие хорошие книги*» (см. ниже комментарий к этому параграфу); 3) Так называемая «Парагвайская записка», написанная рукой Элизабет Фёрстер-Ницше (см. ниже комментарий к 4-му параграфу главы «*Случай «Вагнер»*»); 4) Листы 46 и 47 из рукописи А (см. выше, а также комментарий к 4-му параграфу главы «*Случай «Вагнер»*»); 5) Записка с заголовком «Последнее соображение», на которой стоят указания для наборщика в лейпцигской типографии. Эта записка осталась среди бумаг Н. в Турине; он использовал ее оборот для наброска посвящения *Дионисовых дифирамбов* Катуллу Мендесу и для фрагмента 25 [20] из ПСС 13. 19 мест в Dm зачеркнуты. Зачеркивания сделаны рукой Н. во всех случаях, за исключением трех. Первое из этих трех – первое предложение параграфа 10 в главе «*Почему я так умен*»: *В этом месте необходимо сделать хорошую паузу. Почему его вычеркнул Кезелиц (Петер Гаст), определить невозможно, однако КиМ уверены, что зачеркивание сделано его рукой. Поэтому в данном издании, в отличие от предыдущих, это предложение включено в текст ЕН.*

Второй такой случай встречается в том же параграфе – здесь вычеркнуто сразу четыре предложения, и мотивация вычеркивающего на сей раз более или менее ясна<sup>1</sup>. См. ниже комментарий к месту, начинающемуся со слов: *Германский кайзер*.

Примерно такой же объем – три предложения – был вычеркнут и в третьем зафиксированном КиМ случае – это

---

1 Одно схожее зачеркивание было восстановлено еще в самой первой публикации ЕН. Это место из 1-го параграфа главы «*Так говорил Заратустра*», где тою же рукой было вычеркнуто: *с которой я тогда был дружен, – фройляйн Лу фон Саломе*. Однако поскольку это место сохранилось в копии, сделанной Кезелицем, Рауль Рихтер проигнорировал зачеркивание и, как пишет Подах, «втихаря» включил его в свое издание ЕН. – Прим. КиМ.

концовка 4-го параграфа главы «Случай «Вагнер»». В данной редакции мы восстанавливаем это место в тексте ЕН. См. также комментарий к соответствующему параграфу. В целом, несмотря на вставки и зачеркивания (в том числе мелкую корректуру с исправлением пунктуации и орфографии) Dm без всякого труда читается как связный текст. Однако это не исключает того, что могли не сохраниться некоторые не пронумерованные, но снабженные указаниями для наборщика листы, отправленные в типографию из Турина. На такое подозрение наводит история с окончательным вариантом 3-м параграфа главы «Почему я так мудр». Очевидно, он относится к числу тех мест, про которые Кезелиц, сделавший в феврале 1889 г. копию Dm, писал Овербеку: «Мне хотелось бы, чтобы Вы, уважаемый господин профессор, ознакомились с этим произведением по сделанной мною копии, то есть без тех мест, которые произвели на меня впечатление чрезмерного самоопьянения или же слишком далеко зашедшего презрения и несправедливости. Таким образом Вы сможете получить впечатление, которое мне нелегко вызвать в себе, поскольку слишком живо воспоминание о выпавших фрагментах». Итак, как следует из этого письма, сделанный Кезелицем список – идентичный с сохранившейся в Архиве рукописью – уже тогда, в начале 1889 г., не содержал «выпавших» по усмотрению Кезелица фрагментов. И речь идет уже не об отдельных фразах, но, по-видимому, о целых фрагментах, которые были впоследствии уничтожены матерью и сестрой Н. В частности, в так называемой «большой биографии» Элизабет Фёрстер-Ницше мы читаем: «В ту пору он исписывал листы странными фантазиями, в которых сказания о Дионисе–Загрее были перемешаны с евангельскими страстями и реальными личностями знакомых ему современников: растерзанный своими врагами и возродившийся бог прогуливался вдоль берегов По и видел все, что он когда-то любил – свои идеалы, современные идеалы вообще, – где-то далеко внизу. Его друзья и близкие стали ему врагами, растерзавшими его. Эти листы направлены против Рихарда Вагнера, Шопенгауэра, Бисмарка, его ближайших друзей – профессора Овербека, Петера Гаста, – против фрау Козимы, моего мужа, моей матери и меня...

Даже в этих заметках есть места пленительной красоты, но в целом их можно охарактеризовать как болезненный лихорадочный бред. В первые годы заболевания моего брата, когда мы еще питали ложную надежду, что он сможет снова стать здоровым, эти листы были по большей части уничтожены. Любящее сердце и хороший вкус моего брата были бы глубоко уязвлены, если бы подобные рукописи попались ему впоследствии на глаза».

Благодаря одной находке, сделанной среди бумаг Генриха Кезелица (Петера Гаста) – сейчас они находятся в GSA – читатель данной редакции ЕН может увидеть один из таких уничтоженных (но сохранившихся в копии Кезелица) листов на предназначавшемся ему месте, т. е. в качестве 3-го параграфа главы «Почему я так мудр».

Этот лист рукописи поступил в лейпцигскую типографию, по свидетельству издателя Науманна, «в один из двух последних дней декабря». На нем стояло указание Н.: «В первую тетрадь *Esse homo* вместо прежнего 3-го фрагмента». Помимо него Н. отослал из Турина 29 декабря еще множество других добавлений и исправлений. Гранки первой тетради ЕН были отосланы Н. обратно в Лейпциг еще 18 декабря с пометкой «в печать». Однако после этого он пожелал заменить входящий в эту тетрадь вышеназванный параграф другим текстом, содержащим более чем резкие характеристики матери и сестры. Технолог в типографии обратил внимание Науманна на «резкость» данного текста, и тот решил дожидаться от Н. подтверждения необходимости печатать именно эту редакцию параграфа. Тем временем пришло известие о душевной болезни Н. Лист оставался в рабочем столе у Науманна, покуда его не забрал в феврале 1892 г. Кезелиц. 9 февраля он отослал его Элизабет Фёрстер-Ницше, сопроводив посылку следующими словами: «Порадуемся, что этот лист в наших руках! Однако теперь его точно следует уничтожить! Пусть даже очевидно, что он был написан в полнейшем безумии, наверняка найдутся люди, которые скажут: именно поэтому этот текст так важен, – ведь здесь без всякого стеснения и с полной искренностью говорит инстинкт». Тем не менее после этого Кезелиц сделал собственноручную копию, благодаря которой мы теперь можем судить о том, что именно на

звано здесь «полным безумием» и (выше) «лихорадочным бредом». Копию Кезелиц надписал словами: «Копия листа, который Ницше, уже в полном безумии, отправил Науманну во время печати *Ессе homo*». Позже, возможно, после разрыва с Элизабет Фёрстер-Ницше в 1909 году, Кезелиц стер слова «в полном безумии», более того – ссылаясь на данный текст в переписке с Эрнстом Хольцером. Тогда как раз вышел V том писем Н., в который вошло немало адресованных Элизабет писем, ею же во многих случаях и сфабрикованных<sup>1</sup>. В связи с этим 23 июня 1909 Кезелиц пишет Хольцеру: «В Вашей последней открытке говорится: письма (V) не оставляют никаких сомнений относительно душевно близких отношений Ницше с сестрой. Ну да, ну да!.. Однако близкие отношения требовали немалого самопреодоления. Сколь мучительным было это преодоление для Ницше, стало ясно лишь незадолго до того, как он впал в безумие, а именно – когда он отправил Науманну в качестве дополнения к *Ессе* большой лист *in folio* по поводу матери и сестры».

Два сохранившихся черновика к 3-му параграфу не оставляют никаких сомнений относительно аутентичности этого текста. Да и в том, что касается прорывающегося местами психического напряжения, 3-й параграф мало чем отличается от многих других мест ЕН. В свете этого КиМ включили его в состав ЕН именно в неопубликованной ранее окончательной версии, что вслед за ними делает и наше русское издание. Одновременно текст 3-го параграфа дает представление и о том, каким могло быть содержание «выпавших» из-под руки Кезелица (т. е. при изготовлении им копии рукописи ЕН; см. выше) фрагментов и уничтоженных, по признанию Элизабет, «мест пленительной красоты».

---

<sup>1</sup> «Фабрикация» в данном случае – не фигура речи, а вполне уместная характеристика «эпистолярного творчества» Элизабет: она не писала несуществующих писем Н., но компилировала их из писем другим так, чтобы в итоге создавалось ощущение, 1) будто всем самым важным и сокровенным Н. непременно делился именно с ней; 2) будто их переписка носила эмоционально ровный и исключительно регулярный характер. – *Прим. ред.*



*История создания*

В основу текста ЕН легло небольшое самоописание, созданное во время работы над корректурой СИ. Оно опубликовано в ПСС 13 как фрагмент 24[1] и состоит из 11 главок, включающих в себя как фрагменты глав «Почему я так мудр» и «Почему я так умен» из ЕН, так и главу «Чем я обязан древним» из СИ. После того, как 15 октября 1888 г., в свой сорок четвертый день рождения, Н., согласно его письменным свидетельствам (см. НП, с. 337–338), «принялся за очередное начинание», где «речь идет обо мне и моих произведениях», он 24 октября отослал в лейпцигскую типографию главы «Чем я обязан древним» и «Молот говорит» (текст из ТГЗ) в качестве завершающих разделов СИ.

Работа над первой редакцией ЕН продолжалась с 15 октября по 4 ноября. Именно в промежутке между этими датами Н., согласно его письму Науманну от 6 ноября, «выполнил неимоверно трудную задачу – рассказать самого себя, свои книги, свои взгляды ... свою жизнь». Эта первая редакция, которую КиМ называют «октябрьской редакцией», состояла из 24 параграфов. Затем Н. написал Предисловие и главы о ПСДЗ, СВ и СИ. Вместе с октябрьской редакцией он отослал их в середине ноября в типографию Науманна. Таким образом было возведено основное здание книги, в которое с середины ноября до 6 декабря Н. также периодически вносил новые, не столь значительные изменения. 6 декабря Н. отослал целиком просмотренную им Dm в лейпцигскую типографию. Однако с середины декабря последовали новые существенные изменения: 1) в главу «Почему я так умен» добавились параграфы 4, 6 и 7; 2) в главе «Почему я пишу такие хорошие книги» текст 2-го параграфа был заменен новым; 3) в главу о ЧСЧ добавился 6-й параграф; 4) изменена концовка 5-го параграфа главы о ТГЗ (цитата из «Закона против христианства»); 5) заменен 3-й параграф главы «Почему я так мудр» (см. ниже). 29 декабря, то есть после того, как были отосланы все эти добавления, Н. известил издателя, что будет прислан еще «остаток рукописи, сплошь чрезвычайно существенные вещи, в том числе стихотворение, которым должен заканчиваться Ессе хотто». Самое последнее изменение было внесено 2 января 1889 г., когда Н. отозвал обратно стихотворение «Слава и вечность» (см.

коммент. к ДД), предназначенное было венчать собою ЕН. В свою очередь отправлено в Лейпциг оно было 29 декабря, с указанием: «Раздел «Объявление войны» выпадает, равным образом и – “Молот говорит”» (см. ниже). Таким образом, согласно последним распоряжениям Н., заканчиваться текст ЕН должен был так же, как он заканчивается во всех изданиях, начиная с 1908 г.

### Предисловие

1. *в Верхний Энгадин, чтобы* – черновой вариант: *в Верхний Энгадин – умолчу из человеколюбия о своих друзьях – чтобы.*
4. *Самые тихие слова ... миром* – цитата из «Так говорил Заратустра», глава «Самый тихий час». Ср.: ПСС 4, с. 153, стр. 35–37.  
*Плоды ... после полудня* – глава «На блаженных островах». Ср.: ПСС 4, с. 88, стр. 1–7.  
*Один ухажу ... вернусь к вам* – глава «О дарящей добродетели». Ср.: ПСС 4, с. 81, стр. 18–34.  
*В этот совершенный день ...* – в октябрьской редакции ЕН значится как первый параграф, датируется 15-м октября 1888. Ср.: ПСС 13, 23[14].

### Почему я так мудр

2. *Он реагирует ... навстречу* – Ср.: СИ, Чем обделены немцы, 6.
3. Об истории этого параграфа см. выше в преамбуле. В предыдущих изданиях вместо него публиковался следующий текст: *Этот двойной ряд опытов, эта доступность в мнимо разьединенные миры повторяется в моей натуре во всех отношениях – я двойник, у меня есть и «второе» лицо кроме первого. И, должно быть, еще и третье... Уже мое происхождение позволяет мне проникать взором по ту сторону всех обусловленных только местностью, только национальностью перспектив; мне не стоит никакого труда быть «добрым европейцем». С другой стороны, я, может быть, больше немец, чем им могут быть нынешние немцы, простые имперские немцы, – я последний антиполити-*

чешский немец. И однако, мои предки были польские дворяне: от них в моем теле много расовых инстинктов, кто знает? в конце концов даже и *liberum veto*. Когда я думаю о том, как часто обращаются ко мне в дороге как к поляку даже сами поляки, как редко меня принимают за немца, может показаться, что я принадлежу лишь к крапленым немцам. Однако моя мать, Франциска Элер, во всяком случае нечто очень немецкое; так же как и моя бабка с отцовской стороны, Эрдухта Краузе. Последняя провела всю свою молодость в добром старом Веймаре, не без общения с кругом Гёте. Ее брат, профессор богословия Краузе в Кенигсберге, был призван после смерти Гердера в Веймар в качестве генерал-суперинтенданта. Возможно, что их мать, моя прабабка, фигурирует под именем «Мутген» в дневнике юного Гёте. Она вышла замуж вторично за суперинтенданта Ницше в Эйленбурге; в тот день великой войны 1813 года, когда Наполеон со своим генеральным штабом вступил 10 октября в Эйленбург, она разрешилась от бремени. Она, как саксонка, была большой почитательницей Наполеона; возможно, что это перешло и ко мне. Мой отец, родившийся в 1813 году, умер в 1849. До вступления в обязанности приходского священника общины Рёккен близ Лютцена он жил несколько лет в Альтенбургском дворце и был там преподавателем четырех принцесс. Его ученицами были ганноверская королева, жена великого князя Константина, великая герцогиня Ольденбургская и принцесса Тереза Саксен-Альтенбургская. Он был преисполнен глубокого благоговения перед прусским королем Фридрихом-Вильгельмом IV, от которого и получил церковный приход; события 1848 года чрезвычайно опечалили его. Я сам, рожденный в день рождения названного короля, 15 октября, получил, как и следовало, имя Гогенцоллернов – Фридрих Вильгельм. Одну выгоду во всяком случае представлял выбор этого дня: день моего рождения был в течение всего моего детства праздником. – Я считаю большим преимуществом то, что у меня был такой отец: мне кажется также, что этим объясняются все другие мои преимущества – за вычетом жизни, великого утверждения жизни. Прежде всего то, что я вовсе не нуждаюсь в намерении, а лишь в простом выжидании, чтобы невольно вступить в мир высоких и хрупких вещей: я там дома, моя сокровеннейшая страсть становится там впервые свободной. То, что я заплатил за это преимущество почти ценою жизни, не есть, конечно, несправедливая сделка. – Чтобы только понять

*что-либо в моем Заратустре, надо, быть может, находиться в тех же условиях, что и я, – одной ногой стоять по ту сторону жизни.* – Пер. Ю. Антоновского.

*Происхождение высших ... накапливать* – Ср.: СИ, Набеги... 44.

4. *Генриха фон Штайна ... Энгадина* – О визите фон Штайна в Энгадин и о его кончине см. в письмах Ф. Овербеку от 14 сентября 1884 и 30 июня 1887 (НП, с. 226–227, 278).

*погрязшего ... в вагнеровском болоте* – ср. черновик письма фон Штайну: НП, с. 233–234.

*к «любви ... словом и делом* – использована редакция К. Свасьяна по двухтомнику 1990-го года (ср.: т. 2, с. 702).

*«Искушение Заратустры»* – под этим названием Н. планировал осенью 1888 года публикацию четвертой части ТГЗ. Варианты подзаголовков к этой публикации см.: ПСС 13, 22 [13, 15, 16].

5. *молчальники* – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 703).

6. *безропотным фатализмом* – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 704).

*«не вражда ... предел вражде»* – ср. А, 20.

*мстительными последышами чувства* – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 704, 705).

7. *мстительные последыши* – см. пред. прим.

*... напастью тысячелетий* – в Dm после этих слов следовала поначалу другая концовка параграфа, которую Н. вычеркнул при редактировании в начале декабря: *И даже в случае Вагнера, – ведь как мог бы я отрицать, что из своей дружбы с Вагнером и госпожой Вагнер я вынес самые отрадные и возвышенные воспоминания, – что между нами ни разу не пробежало ни единой тени? Именно это дает мне нейтральность взгляда, необходимую, чтобы видеть проблему Вагнера как проблему культуры вообще – и, возможно, разрешить ее... В-пятых и в последних: я нападаю только на те вещи, которые я знаю досконально, – которые я сам пережил, которыми я в определенной степени сам был когда-то. Христианство моих предков находит во мне свое завершение, – возвращенная самим христианством, ставшая солнечно ясной строгость интеллектуальной совести обращается против христианства: в моем лице судит себя, во мне преодолевает себя само христианство.*

8. *замаскированной ... восстания* – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 706).  
*Что же случилось ... против ветра* – см. ПСС 4, с. 101, стр. 16 – с. 102, стр. 21.

### Почему я так умен

1. *противником вегетарианства ... Вагнер* – см. письмо фон Герсдорфу от 28 сентября 1869 г. (НП, с. 69–70).  
*дух носится над водою* – ср.: Быт 1, 2.  
*начать с ... какао* – ср. письмо Франциске Ницше от 3 августа 1887 г. (НП, с. 280).  
*Сидячая жизнь ... святого духа* – ср. афоризм 34 «Стрел и изречений» в СИ.
2. *Никто не волен жить где угодно; а кому суждено* – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 710).  
*эти имена о чем-нибудь да говорят* – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 711).
3. *Виктора ... Grecs* – книга издана в Париже в 1887 году. Экземпляр сохранился в библиотеке Н.  
*moi Laertiana* – т.е. исследования Н. о Диогене Лаэртском: *De Laertii Diogenis fontibus* (опубликовано в «Rheinisches Museum», 1868–1869, Vde. 23–24); *Analecta Laertiana* (опубликовано в «Rheinisches Museum», 1870, Vd. 25); *К вопросам об источниках и критике Диогена Лаэртского* (Basel, 1870).  
*... что его не существует* – до переделанной Н. в начале декабря редакции после этих слов следовало такое продолжение: *Эмерсон со своими эссе даже в мрачные времена был для меня другом и умел меня развлечь: в нем столько скепсиса, столько «возможностей», что у него даже добродетель становится остроумной... Единственный случай: ... Еще ребенком я охотно прислушивался к нему. Равным образом «Тристрам Шенди» относится к числу книг, которые были вкусны для меня с самых ранних лет; о том, как я воспринимал Стерна, говорит очень выразительное место в «Челов. слишком челов.» (II, аф. 113). Возможно, что по родственным причинам среди немецких книг я предпочитал Лихтенберга... Хочу также упомянуть аббата Гальяни, этого глубочайшего во всей истории шута. – Из старинных книг одно из моих сильнейших впечатлений – озорной*

провансалец Петроний, сочинивший последнюю *Satura Menippeae*. Эта суверенная свобода от «морали», от «серьезности», от собственного утонченного вкуса, эта рафинированность в смешении вульгарной и «ученой» латыни, этот раскованный задор, который с грацией и лихостью перескакивает через всю эту животную суть античной «души» – я не смог бы назвать другой книги, которая бы произвела на меня столь освобождающее впечатление: она действует дионисийски. В тех случаях, когда мне нужно побыстрее избавиться от вредного впечатления – беру тот случай, когда я в целях моей критики христианства слишком долго дышал воздухом трясины апостола Павла, – мне хватает, в качестве героического средства, пары страниц Петрония: я тут же выздоравливаю.

сказал где-то ... против бытия – ср. СИ, Четыре великих заблуждения, 8, предпоследнее предложение.

4. *насилие над Евтерпой* – см. письмо Ганса фон Бюлова от 24 июля 1872 г. и черновик ответа Н. (НП, с. 93–95).

*Шекспира ... тип Цезаря* – ср. аф. 98 ВН.

5. До редактуры, проделанной в начале декабря, этот параграф выглядел следующим образом: *Музыка – ради неба! – пусть она будет отдохновением и ничем иным!.. Ни за что на свете не должна она становиться для нас тем, чем ее сделало в наши дни нещадное злоупотребление – возбуждающим средством, еще одним ударом кнута для измотанных нервов, типичным вагнерианством! – Не существует ничего более нездорового – *crede experto!* – чем это вагнеровское злоупотребление музыкой; это наихудшая разновидность «идеализма» среди всех возможных идеалистических вывертов. Мало что удручает меня так, как измена инстинкту, с какой уже в молодые годы предаются пороку Вагнера. Вагнер и молодость – это ведь то же самое, что яд и молодость... Лишь за последние шесть лет мне снова стало знакомо, что такое музыка – благодаря тому, что я глубоко опомнился, вернувшись к своему почти забытому инстинкту, благодаря, прежде всего, неоценимому счастью обрести близкого родственного в этом инстинкте друга, Петера Гаста, единственного композитора, который в наши дни еще знает, что такое музыка, – который еще может ее создавать! – Чего я вообще хочу от музыки? Чтобы она была ясной и глубокой, как предзакатный час в октябре. Мягкой, милой – не жаркой... Чтобы она нежилась на солнце, чтобы все в ней было сладко, особенно, тонко и*

умно... Чтобы в ногах у нее был азарт... Ни одна попытка «про-  
никнуться» Вагнером в эти шесть лет мне не удавалась. Всякий  
раз после первого акта я бежал от смертельной скуки. Как беден,  
как экономен и осмотрителен от природы этот «гений», какое  
терпение приходится проявлять прежде, чем дождешься от него  
чего-нибудь стоящего! Сколько же у него самого желудков, чтобы  
постоянно снова пережевывать то, что он нам уже перед этим  
немилосердно разжевал! Я называю его «Магнер»...

*Бодлер* – ср. письмо Кезелицу от 26 февраля 1888 г. (НП, с.  
305–306).

6. *С того момента ... клавираусуг* – знакомство Н. с клавиром  
этого произведения состоялось в 1861 г.
8. *обратиться в ежа* – ср.: «О бедности богатейшего», с. 314  
наст. изд.: *Заратустра не ёж*.
9. *на свое будущее ... никаких желаний* – ср. ПСС 13, 16[44], а  
также письмо Брандесу от 23 мая 1888 г. (НП, с. 318).  
*моя первая филологическая работа* – «К истории собрания  
изречений Феогида». Опубликовано в «Rheinisches Mu-  
seum», Bd. 22 (1867).
10. *Германский кайзер ... «величие»* – в Дм это место было кем-то  
(не рукою Ницше) зачеркнуто, тем не менее оно содер-  
жится в копии, сделанной Петером Гастом. Рауль Рихтер  
и Отто Вайс опубликовали его в комментариях к своим  
изданиям – соответственно в 1908 и 1911 годах. Карл Шлех-  
та в своем издании 1956 года почему-то упустил его из ви-  
да. В основном тексте оно впервые было восстановлено  
лишь в издании Подаха в 1961 году.  
*пакт с папой* – в сентябре 1888 кайзер Вильгельм II нанес  
в Риме визит папе Льву XIII.  
*безлюдья ... «многолюдья»* – у Н. игра слов (*Einsamkeit – Vielsam-  
keit*). В переводе использована редакция К. Свасьяна по  
КСВ (ср.: т. 2, с. 721).  
*... рано, в семь лет* – ср.: ПСС 8, 28[8].

---

1 Игра слов от нем. Magen – «желудок». Соответственно Вагнер,  
переделанный в Магнера, может читаться как «желудочник».

### Почему я пишу такие хорошие книги

1. Ср.: ПСС 13, 19[1, 7].  
*иные ... посмертно* – ср.: СИ, Изречения и стрелы, 15.  
*фон Штайн ... в моем «Заратустре»* – см. черновик письма Генриху фон Штайну: НП, с. 233.  
*кто понял ... «современным» людям* – ср. черновик письма Францу Овербеку: НП, с. 322.  
*когда я своей веской* – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 722).  
*один профессор Берлинского* – вероятно, профессор Ю. Кафтан. Ср.: черновик адресованного ему письма конца декабря 1888: «*Вы с вашим визитом в Сильс-Мария летом прошлого года относитесь к тем эпизодам моей жизни, от которых волосы дыбом встают.*» (Цит. по: Ф. Ницше. Так говорил Заратустра. М., «Прогресс», 1994).  
*Видманна ... «Опасная книга Ницше»* – об этой статье см. подробнее в письме Мальвине фон Мейзенбуг от 24 сентября 1886 г. (НП, с. 260).  
*обзор ... Шпиттелером* – см. письма Йозефу Видманну и Карлу Шпиттелеру февраля 1888 г. (НП, с. 298–300).  
*Из-за игры ... для попадания* – До второй половины декабря редакция этого места выглядела следующим образом: *Не то, чтобы в первом или втором случае отсутствовала «добрая воля», тем более интеллигентность. Господина Шпиттелера я даже считаю одним из самых достойных и тонких среди нынешних критиков; его работа о французской драме – пока еще не изданная, – должно быть, вещь первого ранга.*  
*истребителя морали* – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 722).
2. До декабря 1888 г. этот параграф выглядел следующим образом: *Немцы до сих пор ничего не поняли в моих книгах, тем более – во мне самом. – Понял ли вообще хоть кто-нибудь хоть что-то у меня – во мне? – Только один, и никто кроме него – Рихард Вагнер (еще один повод усомниться, был ли он собственно немцем)... У кого из моих немецких «друзей» (понятие друга в моей жизни – это понятие в кавычках) есть хоть в малейшей степени та глубина взгляда, которая сделала Вагнера шестнадцать лет назад пророком в том, что касается меня? Он представил меня тогда немцам, в письме, опубликованном в «Норд-*



дойче цайтунг», следующими бессмертными словами: «То же, чего ждем мы от Вас, может стать задачей всей жизни – всей жизни такого человека, который сейчас нужнее всего для нас и в качестве какого мы и возвещаем сейчас о Вас всем тем, кто в наше время испытывает потребность в том, чтобы из самого наилучшего источника немецкого духа – всепоглощающего сурового глубокомыслия – разузнать и разведать, какой же должна быть немецкая образованность, если только необходимо, чтобы споспешествовала она достижению самых благородных целей этой вновь воскресшей к жизни нации»<sup>1</sup>. Вагнер просто оказался прав, – он прав сегодня. Я – единственный форс-мажор, достаточно сильный, чтобы избавить немцев, и не только немцев... Возможно, он забыл, что, коль скоро мое предназначение – указывать пути культуре, то я должен указывать их и всякому Рихарду Вагнеру? Культура и «Парсифаль»? Такое сочетание не годится...

*старые торговки ... винограда* – ср. письмо конца 1888 г. Францу Овербеку: НП, с. 355–356.

*Париже изумлялись ... Тэна* – слова из письма Ипполита Тэна к Н. от 14 декабря 1888 г.: «столь литературный и столь живописный немецкий стиль <речь о «Сумерках идолов» – ред.> нуждается в читателях, весьма сильных в знании немецкого; я недостаточно владею языком, чтобы с первого раза ощутить все Ваши дерзости и тонкости». (Пер. К. Свасьяна).

*Я не могу ... Аминь* – пародия на Лютерово «На том стою, и не могу иначе». Ср. в ДД «В кругу дочерей пустыни».

3. В более ранней, ноябрьской, версии этого параграфа было написано, в частности, следующее: *Мои произведения требуют усилий. Чтобы понимать самый лаконичный язык – а заодно и самый скупой на формулы, самый живой и, как правило, художественный, – которым когда-либо говорил философ, следует проделывать процедуру обратную той, что применима ко всей прочей философской литературе. Последнюю нужно сгущать, иначе можно испортить себе желудок – меня же требуется раз-*

---

<sup>1</sup> Строки из «открытого письма» Вагнера к Н., опубликованного в связи с полемикой вокруг памфлета Виламовица-Мёллендорфа против «Рождения трагедии». Цит. по: Ф. Ницше. Рождение трагедии. М.: Ad Marginem, 2001. С. 288. Пер. А.В. Михайлова.

бавлять, делать жидким, иначе тоже испортишь себе желудок. Для меня молчание – такой же инстинкт, как для господ философ – болтовня. Я краток, – мои читатели сами должны стать пространными, чтобы выудить и собрать все, что мной продумано и затаено. – С другой стороны, есть такие предпосылки «понимания» меня, до которых доросли очень и очень немногие: нужно уметь помещать проблему на нужном месте, то есть в связи с родственными ей проблемами, и при этом надо топографически представлять себе заброшенные уголки, труднодоступные местности науки в целом и прежде всего философии. – Наконец, я говорю только о пережитом, а не просто о «мысленном»; у меня отсутствует противоположность мышления и жизни. Моя «теория» вырастает из моей «практики» – ох, из отнюдь не безобидной практики!.. Послушайте, что нам дает понять об этом Заратустра, тот, кто утверждает: «Добрые люди никогда не говорят правду» (далее следовала цитата из ТГЗ: см. ПСС 4, с. 205, стр. 12–18).

... экстазы познания – ср. в письме Г. Кезелица к Н. от 25 октября 1888 г.: «Какими «просветлениями», какими экстазами познания благодарен я Вашему духу – духу правителя мира!»

мое слово ... дурных инстинктов – ср. ПСС 4, с. 102, ст. 19–21. Вам, отважным ... делать выводы – см. главу «О видении и загадке» (ПСС 4, с. 160, ст. 17–25).

4. уши, способные ... позволительно делиться – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 725).
5. прочих пустых ... кочанах – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 726).  
моего определения любви – ср. СВ, 2.  
«проповедь ... духа жизни» – см. А, «Закон против христианства», Тезис четвертый.
6. «Гений сердца ... отливов» – цитируется начало 295 афоризма ПСДЗ, в котором Н. говорит о Дионисе.

#### «Рождение трагедии»

1. с именем ... надежды – предварительный вариант этого места в Дт: у дела Вагнера появились интеллигентные сторонники. «Возрождения трагедии» – ср. письмо Г. Харта к Н. от 4 января 1877: «За последние два дня (: возможно, то же будет и в следующие два:) я дважды подряд прочел, – вернее ска-

зять, «проглотил», «переболел» ею – Вашу вещицу «Возрождение трагедии из духа музыки», и пришел к выводу, что, пожалуй, никто не проникал до сих пор в суть искусства и художественного творчества столь глубоко, как Вы».

3. *«Говорить жизни ... уничтожения»* – см. СИ, Чем я обязан древним, пар. 5.
4. *Весь образ ... 41–44* – ср.: РВБ, главы 7, 1, 4, 9, 6.

### Несвоевременные

1. *или ... Ницше* – предварительный вариант этого места в Дт: *Но настал день, когда Вагнер снизошел – опустился; когда он протянул руки всему, что хотело примириться с ним, когда он примирился с «фейхом», с патронажным «образованием» и даже с добрым боженькой – когда он пошел причащаться!.. Вагнер скомпрометировал меня.*
2. *распивочного евангелия* – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 733).  
*пфелсвутовый «Grenzboten»* – об этой статье, вышедшей 17 октября 1873 г., см. в написанном спустя десять дней письме Н. к фон Герсдорфу: НП, с. 102–103.  
*Гофманом из Вюрцбурга* – См.: Franz Hoffmann (рецензия на ДШ) in: Allgemeiner litterarischer Anzeiger f r das evangelische Deutschland, Bd. 12 (1873), S. 321–336 (November), 401–408 (Dezember). Опубликовано также в: Philosophische Schriften, V. Erlangen, 1878, S. 410–447.  
*Карл Хиллебранд* (1829–1884) – Его статья «Ницше против Штрауса» («Nietzsche gegen Strauss») впервые была опубликована в Augsburger Allgemeine Zeitung, №№ 265–266 от 22 и 23 сентября 1873.  
*собрании его сочинений* – Karl Hillebrand. Zeiten, V lker und Menschen. Bd. 2. Berlin, 1875. S. 291–310. Книга имеется в библиотеке Н.  
*Стендаля ... дуэлью* – ср. в письме Карлу Шпиттелеру от 25 июля 1888 г.: *Первый шаг, который надо совершить, появившись «в обществе, чтобы на тебя обратили внимание, – это дуэль», сказал Стендаль. Я этого не знал, но я это сделал* (НП, с. 324). КиМ полагают, что источником цитаты для Н. послужило предисловие Проспера Мериме к переписке Стендаля, изданной в 1855 г. в Париже (книга сохранилась в библиотеке Н.).

*libres penseurs ... противоречии* – ср. в черновике декабрьского письма Георгу Брандесу: *черт знает что сотворил бы я с этими вольнодумцами* (НП, с. 350).

3. указание ... третьего «Несвоевременного» – см. предпоследний абзац 7-й главы ШВ.

*О том ... побыть ученым* – ср.: ШВ, 3; ЧСЧ, 252; ЕН ЧСЧ 3. Ср. также предварительный вариант этого места в Дм: *Чем должен быть ученый, и чем я тогда совершенно не был – это с нетерпеливой суровостью я написал перед собой на стене. – Хотите пример того, как я ощущал себя в то время, почти что выродившийся в ученого, похожий скорее на книжного червя, полуслеплого, который педантично ползал вдоль и поперек через тома античных стихотворцев, вбурившийся в свое ремесло, которое отнимало не только три четверти моих сил, но и время, необходимое хотя бы для того, чтобы подумать, как эти силы восполнить? Я привожу этот суровый образчик психологии ученого, который в названном сочинении внезапно, словно повествуя о каком-то невыразимом переживании, бросается в глаза. многосушим* – вариант К. Свасьяна, использован нами по КСВ (ср.: т. 2, с. 736).

#### Человеческое, слишком человеческое

Октябрьская редакция этой главы содержала, в частности, следующие, не вошедшие в окончательный текст, детали первого Байройтского фестиваля:

*Типичное зрелище являл собою старый кайзер, который аплодировал и одновременно кричал своему адъютанту графу Лендорфу: «ужасно! ужасно!». – Здесь был весь европейский бездельничающий сброд, и кто ни попадя входил в дом Вагнера и выходил из него так, будто Байройт был каким-то новым видом спорта. Да и ни чем иным он в сущности не был. Здесь, вдобавок к старым поводам бездельничать, открыли новый, художественный, повод – «большую оперу» с препятствиями; в убедительной, благодаря ее тайной сексуальности, музыке Вагнера открыли связующее средство для общества, в котором каждый предавался своим *plaisirs*. То, что там осталось от «дела» и, если хотите, было самой его невинностью – это идиоты, вроде Ноля, Поля и Коля (последний, можно сказать, – *genius loci* в Байройте), порода настоящих вагнеранцев, шайка богооставленных и духолишенных типов с крепкими брюшками, которая подъедала все «отходы», оставленные мастером. А сколько же он оставляет «отходов»!..*

2. *Брендель* – Карл Франц Брендель (1811–1868), немецкий музыковед и композитор, один из основателей «Всеобщего музыкального объединения».

*Ноль, Поль, Коль* – Карл Фридрих Людвиг Ноль, автор биографии Вагнера, которую Н. читал в 1888 г.; Рихард Поль, музыковед, опубликовавший в 1888 в ответ на СВ памфлет «Казус Ницше»; Й.Г. Коль – как удалось установить биографу Н. Курту Паулю Янцу, – автор книги «О звуковой живописи в немецком языке».

*очаровательная ... утешить* – речь о Луизе Отт. См. переписку с нею Н. августа–сентября 1876 г. (НП, с. 124–126).

3. Ср. ПСС 12, 9[42].
4. *Глубоко скрытое ... другие Само* – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 739).
6. *безнадёжных ... высший рэализм* – 16 июня Эрвин Роде писал Н. по поводу ЧСЧ: *Возможно ли вот так вынуть свою душу и взамен впустить в себя другую? Стать вдруг Рэ вместо Ницше?* На что Н. отвечал: *Ищи в моей книге лишь меня, а не друга Рэ.* (НП, с. 146–147).

*рэализм* – в оригинале: Reealismus, от фамилии Рэ.

*послужить секирой ... человечества* – выражение из проповеди Иоанна Крестителя: «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» (Мф 3, 10). Н. говорит об *искоренении «метафизической потребности» человечества.*

### Утренняя заря

1. *На мораль ... “или?” ...* – в октябрьской редакции: *На мораль не нападают, ее просто больше не слушают... По ту сторону добра и зла! «Утренняя заря», gaia scienza (1882), мой «Заратустра» (1883) – это прежде всего поступки, говорящие «Да!» – в каждом предложении слово берет имморалист. Отрицание в них – просто итог, оно следует, оно не предшествует.*
2. *есть воля ... человекоосквернителями* – перевод К. Свасьяна, приводится по КСВ (ср.: т. 2, с. 742).
- затаившихся священников* – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 742).

### Веселая наука

*Ты ... Януариус* – эпитафия к четвертой книге ВН. Перевод К. Свасьяна.

*Может ли ... Заратустры* – см. ВН, 342.  
«К мистралю» – сочинено осенью 1884 г.

Так говорил Заратустра

1. *беременности ... слониха* – ср. по поводу сроков «вынашивания» ЧСЧ: ПСС 8, 22[80].  
*начало «Заратустры» ... мысль Заратустры* – см. ВН, 342; 341.  
*гобая...* – должно быть: *кларнета*, указывает Кезелиц.  
*незабвенный германский* – в Дт эти слова зачеркнуты Кезелицем. Фридрих III был, пожалуй, единственным современным Н. германским политиком, о котором он с симпатией отзывался в зрелые годы. В 1888 г., получив известие о его смерти, Н. писал: *Он был для нас светом, пусть и слабеньким, мерцающим, но светом свободной мысли, последней надеждой Германии* (цит. по: Т. Манн. Аристократия духа. М., 2009. С. 328).
2. Н. цитирует афоризм 382 из ВН. Приводится нами в новой редакции перевода К. Свасьяна.
3. «*Сюда приходят ... говорить*» – ПСС 4, с. 188 (стр. 21–23) – 189 (стр. 18–20).
4. *Л'Акуилу ... стечение обстоятельств* – городок в Аbruцких Апеннинах. 10 июня 1883 Н. писал своей сестре Элизабет в Рим: *Неудача! Сирокко держит свой пламенеющий меч над Л'Акуилой. Местность не для меня!*  
*Фридрихе II* – см. прим. к А, 60.  
*ни одного приветного ... возмущения* – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 748).  
*в таком состоянии ... теплота* – ср.: ПСС 13, 9[7].
6. *ремень у обуви* – ср.: Ин 1, 27.  
*«я замыкаю ... гор»* – см. ПСС 4, с. 212, стр. 11–13.  
*душа ... отлив* – см. ПСС 4, с. 212 (стр. 29)–213 (стр. 5).  
*огромное ... Аминь* – см. ПСС 4, с. 170, стр. 6.  
*во все ... Да* – см. ПСС 4, с. 170, стр. 28–29.
7. *Ночь ... влюбленного* – см. ПСС 4, с. 110–111.
8. *Ариадна* – так Н. обращается 3 января 1889 г. в своей записке к Козиме Вагнер. Так же он называет ее в конце письма Буркхардту от 6 января (см. НП, с. 361, 366).  
*Я брожу ... избавлением* – см. ПСС 4, с. 145 (стр. 38)–146 (стр. 7).  
*Не хотеть ... до богов* – см. ПСС 4, с. 89 (стр. 38)–90 (стр. 16).

*станьте тверды* – см. ПСС 4, с. 218, стр. 21.

*созидающие тверды* – см. ПСС 4, с. 218, стр. 14.

#### По ту сторону добра и зла

1. ... *негативной, неактивной* – использована редакция К. Свастьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 754). У Н. противопоставлено *jasagende* (букв.: говорящая «да») и *neinsagende, neinthuende* (букв.: говорящая «нет», творящая «нет»). Хотя Н. здесь и не образует неологизмов, передать симметричным образом его противопоставление возможно только с помощью игры слов (*неактивный*, т. е. негативно активный). Для усиления симметрии мы заменили и «утверждающую» (*jasagende*), стоявшую в переводе Антоновского и оставленную Свастьяном, на «позитивную».

#### Генеалогия морали

«Ибо человек ... *не хочет*» – заключительная фраза «К генеалогии морали».

#### Сумерки идолов

2. «*Современные идеи*», например – вариант этого места в более ранней редакции: *Все политические «современные идеи», включая идею Рейха, рабочий вопрос, преступление, добровольную смерть, брак, все позавчерашние литературные суеверия, предпосылки образования, последние эстетические ценности – все это выражено в пяти словах.*

*второе сознание ... «темным стремлением»* – ср. в письме Кезелица к Н. от 25 октября 1888: «Такое ощущение, как будто у Вас выросло второе сознание, как будто всё до сих пор было темным, слепым стремлением, как будто только в Вашей духовности «Воля» зажгла свой свет, чтобы отвергнуть неверный путь, по которому она идет под откос». Стоит отметить, что Н. охотно копирует здесь за Кезелицем шопенгауэровскую терминологию.

«*темным стремлением*» ... *верном пути* – Н. перефразирует строки из «Пролога на небесах» в «Фаусте» Гёте. Существующие стихотворные переводы не передают в точности смысл этих строк, который буквально таков: «Добрый человек даже среди темных стремлений сознает, где находится верный путь».

*только с меня ... культуры* – еще одна цитата из письма Кезелица к Н. от 25 октября: «только с Вас начинаются снова надежды, задачи, предписывающие пути культуры».

3. *Предисловие ... льдом и Югом* – ср.: НП, с. 327–328. *полузапленном Камо* – см. письмо Кезелицу от 27 сентября 1888 (НП, с. 332).

*родился Виктор Эммануил* – Виктор Эммануил II (1820–1878), с 1861 г. первый король Италии. В последнем письме Буркхардту Н. идентифицирует себя с ним (см. НП, с. 365).

*завершение «Переоценки»* – на месте этих слов в Dm стояло: *седьмой день*. КиМ восстановили окончательный, на их взгляд, вариант, исходя из следующего. Отправляя в 1893 г. список «Ессе homo» в Наумбург Элизабет Ферстер-Ницше, Кезелиц указывал в сопроводительном письме: «Список с Ессе homo дословен. Единственно ... я позволил себе ... на с. 104 вставить два слова: «первой книги» <т. е. «первой книги «Переоценки»>». Поскольку Кезелиц говорит о вставке, то неизбежен вывод, что слова «*завершение «Переоценки»*», к которым присоединена вставка, написаны Н. В Dm до сих пор можно различить следы вписанных карандашом, а затем стертых резинкой слов над словами «*седьмой день*», на которых в свою очередь заметны следы впоследствии стерттого карандашного зачеркивания. Поэтому события можно реконструировать следующим образом. 1. *Завершение «Переоценки»* было правкой Н., которую он отправил в Лейпциг уже после корректуры, сделанной в начале декабря. 2. Листок или записка, на которой Н. дал инструкции касательно этого исправления, потерялся или был уничтожен. 3. Поскольку об этом изменении говорилось в отдельной записке или на отдельном листе, то оно не могло не попасться на глаза Кезелицу, когда он забирал в Лейпциге рукопись ЕН; отсюда и возбужденное письмо Овербеку от 18 января 1889 г., где он пишет: «Если это произведение закончено, во что я верю, то Ницше мог сойти с ума от того, что безгранично радовался триумфу человеческого разума в нем, окончанию этого произведения», а также спустя неделю: «В «Ессе homo» говорится о «Переоценке всех ценностей» как о завершенном труде». Стоит заметить, что Кезелиц тогда все еще представлял себе «Переоценку» как произведение в четырех книгах. Отсюда



вытекает 4-й пункт: поначалу Кезелиц заменил *седьмой день*, согласно указанию Н., на *завершение «Переоценки»*, но позднее, когда он готовил свою копию ЕН, он вписал то, что ему показалось на тот момент правильным: *завершение первой книги «Переоценки»*. 6. Первый редактор ЕН, Рауль Рихтер, ничего не знал об этих обстоятельствах, и оставил так, как было в первой редакции Dm: *седьмой день*. *Клод Лоррен ... совершенства* – ср. в письме Кезелицу от 30 октября 1888 г. (НП, с. 337).

### Случай «Вагнер»

1. ... *трубачу из Экингена* – см. СИ, Набегу Несвоевременного 1 и коммент.  
*извилистой* – В оригинале: *listiger Kirchenmusik*, т. е. «хитрая церковная музыка», но поскольку речь идет о ферейне Листа, то в *listiger*, несомненно, прочитывается и «листовская». Наилучший паллиатив для передачи этой игры слов на русском – «*извилистый*» – предложен К. Свасьяном в КСВ (т. 2, с. 758).
2. *лежит на совести ... реанимировал ее* – ср.: НП, с. 333, 341.  
*Фишера* – немецкий эстетик Фридрих Теодор Фишер (1807–1887).
3. *Унемца ... плосок* – ср.: СИ, «Изречения и стрелы», 27.  
*немецкий кайзер ... просто «немецким»* – ср.: ПСС 13, 25[13].
4. ... *хорошего часа* – после этих слов, согласно указаниям Э. Фёрстер-Ницше, должна была быть вставка из так называемой «парагвайской записки». По уверениям Фёрстер-Ницше, после смерти ее мужа она «нашла в его бумагах чрезвычайно обидное письмо Н. к нему, и кроме того, 5 листов ... два из которых содержали пометки, что их содержание должно быть вставлено в одну из глав» (из письма Э. Фёрстер-Ницше Раулю Рихтеру, редактору первого издания ЕН, от 22 июня 1908 г.). Вот содержание «вставки», о которой говорит Элизабет Фёрстер-Ницше: *Рассказать ли о моем «немецком» опыте? – Фёрстер: длинноногий, голубоглазый, блондин (соломенная башка!<sup>1</sup>), «породистый немец», ядовито и желчно налетающий на все, в чем есть дух и будущее – на еврейство, вивисекцию и т. д., – однако моя сестра остави-*

---

1 В оригинале: Strohkopf, т. е. буквально «соломенная голова», а в переносном смысле «набитый дурак».

*ла ради него своих «ближних» и ринулась в мир полный опасности и злых случайностей. – Кезелиц: по-саксонски льстивый, временами настоящий телепень, которого с места не сдвинуть, воплощение закона тяжести – но у него первосортная музыка, которая несется на легких ногах. – Овербек: высушенный, скисший, живущий под каблуком у своей сурфуги; он, как Миме, подносит мне отравленный напиток сомнения и недоверия к самому себе, выказывает, однако, свою благожелательную заботу и называет себя моим «дальновидным другом». – Поллобуйтесь на них, – вот три немецких типажа! Канальи!..*

Подах опубликовал в своей биографии этот текст в качестве аутентичного текста Н., за что был подвергнут критике многих ницшеведов. КиМ, в свою очередь, согласны с Подахом в том, что содержание записки « вполне могло быть продуктом крайнего раздражения Н. в отношении его близких и друзей, свойственного Н. в определенную фазу создания ЕН ». Кроме того, КиМ отмечают, что записка написана в стилистике Н., Элизабет Фёрстер-Ницше никогда не смогла бы сама сочинить таких фраз. И все же, по мнению КиМ, филологические основания для публикации этих фраз в составе ЕН отсутствуют. Во-первых, рукопись этих страниц не сохранилась: по словам Элизабет, она переписала текст, после чего уничтожила оригинал. Во-вторых, нет никакой гарантии, что Н. сохранил бы эти фразы в окончательной редакции книги. В-третьих, не исключено, что текст является компиляцией из аутентичных фраз Н., составленной Элизабет наподобие некоторых сфальсифицированных ею писем. (В этой связи редактор данного тома советует обратить внимание на письмо к Элизабет от 7 февраля 1886 г. (НП, с. 251), где Н. также сокрушается о ее отъезде в Парагвай.) Наконец, в-четвертых, весьма вероятно, что письмо в Парагвай было отослано Н. в первые дни января 1889 г., в дни « туринской катастрофы », то есть после завершения работы над ЕН, и содержало в себе « забракованные » самим Н. черновые варианты, с помощью которых он решил вызвать определенную реакцию у Б. Фёрстера.

*датчанин ... Брандес* – о лекциях Брандеса см. в переписке Н. с Брандесом: НП, с. 308, 311, 314, 317, 318. По поводу комментируемого места в ЕН см. в письме Брандесу от 20 ноября 1888 г. (НП, с. 341).

*И вот ... человечества* – Речь идет о Мальвиде фон Мейзенбург. Эти предложения были вычеркнуты в Дтм чужой (не Н.) рукой (см. преамбулу). КиМ полагают, что далее могло следовать продолжение главы, где, в частности, «*Мальвида предстает в образе Кундри*» (из черновика письма Козиме Вагнер). См. также НП, с. 363: *Мальвида, как известно, – Кундри, которая смеялась в то время, как содрогался мир* (согласно легенде, использованной в «Парсифале» Вагнера, Кундри высмеяла Христа на его крестном пути).

### Почему я судьба

- 1–2. Ср. ПСС 13, 25[6]; НП, с. 349–351.
2. *и кто ... творческое благо* – см.: ПСС 4, с. 120, стр. 36–40.
4. *... исчадия* – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 765).  
*Обманчивые берега ... основания* – см. ПСС 4, с. 217, стр. 23–25.  
*«последними людьми»* – см. ПСС 4, с. 17–18.  
*Ибо добрые ... началом конца* – см. ПСС 4, с. 217, стр. 1–6.  
*И как бы ... вред* – см. ПСС 4, с. 216, стр. 21–22.
5. *«Чтобы унести ... будущее»* – см. ПСС 4, с. 151, стр. 18–19.  
*Вы, высшие ... дьяволом* – см. ПСС 4, с. 151, стр. 12–14.  
*Так чужда ... доброте* – см. ПСС 4, с. 151, стр. 7–8.
7. *обращенным в инстинкт ... фабрикацией* – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 767).  
*одержимости ближним* – использована редакция К. Свасьяна по КСВ (ср.: т. 2, с. 767).